

Русская речь

Научно-популярный журнал

Института русского языка Академии наук СССР

Основан в 1967 году. Выходит 6 раз в год

Издательство «Наука». Москва

№ 3 1971 май—июнь

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В. А. Грехнев. «Сквозное» слово Жуковского . . .	3
И. С. Куликова. Две цветные картины мира . . .	10
А. Н. Шустов. Из жизни одной метафоры.	18
Л. В. Муковозов. О русской рифме	29

КУЛЬТУРА РЕЧИ

Н. А. Мещерский. Традиционно-книжные выражения в языке произведений В. И. Ленина	39
С. М. Потапов. М. В. Ломоносов о выразительности русской речи	46
Н. Г. Самойлова. Оправданная тавтология	53
Н. С. Авилова. Пленить — взять в плен	57
В. Я. Дерягин. Что пишут о языке	59
Н. Я. «Живой как жизнь»... Чьи это слова?	68

НОВЫЕ СЛОВА

Л. И. Скворцов. Луноход	71
-----------------------------------	----

ШКОЛА

А. Ю. Купалова. Термины в школьной грамматике	81
А. А. Дементьев. Издательство «Просвещение» — студенту и учителю	84

ОБЛАСТНЫЕ ГОВОРЫ

Л. П. Комягина. Лексический атлас Архангельской области	86
---	----

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ

Н. В. Попова. Сутки	97
А. А. Абдуллаев. Грузин, осетин, лезгин	100
П. В. Зимин. Несколько забытых слов	105
О. Г. Порохова. Смородина и смрад	108
И. Т. Сергеев. Шишимора и его «родственники».	114
Е. Н. Борисова. Вор	117

ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ

Г. В. Хруслов. Японские слова в русском языке	124
---	-----

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

С. В. Смирнов. Дмитрий Николаевич Кудрявский	137
--	-----

КОНСУЛЬТАЦИИ

Р. П. Рогожникова. Техника словарного дела.	146
Народные названия рыб	150

ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»	153
-----------------------------	-----

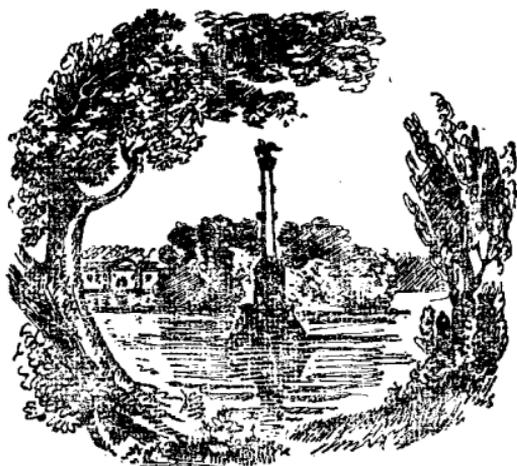
Прочитайте детям	158
------------------	-----

*На обложке: В. А. Жуковский
Гравюра Ю. И. Космынина*

*При перепечатке
ссылка на журнал «Русская речь»
обязательна*

Адрес редакции:
Москва Г-19, Волхонка, 18/2.
Телефон: 202-65-25

В. А. ГРЕХНЕВ



«СКВОЗНОЕ» СЛОВО ЖУКОВСКОГО



рика Жуковского воспринимается как монолитное художественное единство главным образом по-

тому, что она насквозь пронизана движением устойчивых, повторяющихся, постоянно варьируемых образных «гнезд». Элементарной основой каждого такого «гнезда» служит особое, разросшееся до широты символа слово (минувшее, очарованье, привет, невыразимое, воспоминанье, упование, теперь — прежде, здесь — там, все и т. д.).

В поэзии Жуковский занят напряженным строительством идеала: он жаждет создать общечеловеческий образец душевного мира, способный противостоять действительности, и важным инструментом такого строительства становится «сквозное» слово. Оно оказывается способным выполнить такую роль именно потому, что за ним стоит представление о некоей суммарной душевной стихии, о целостном и устойчивом переживании.

Что такое, например, *минувшее* Жуковского — слово, странствующее из одного стихотворения в другое, дающее исток множеству композиционно развернутых образных вариаций? По Жуковскому, минувшее живет только в че-

ловеке, оно не более чем состояние души, охваченной переживанием собственной полноты. Минувшее — это своеобразная «очищенная» реальность, прошедшая сквозь фильтр человеческого духа, ставшая неувидаемой, и, стало быть, не тождественная действительности. Не случайно в дневнике 1818 года (запись 28 октября) поэт определяет чувство былого, как «общее неясное воспоминание, без вида и голоса, как будто воздух прежнего времени». За словом притаилась целая философия, оно оказывается неизмеримо шире своего прямого и конкретного значения, заданного семантической традицией языка. Оно оказывается шире и многозначительней потому, что в нем просвечивает неповторимый контекст всего лирического творчества Жуковского.

Но поэтическое слово одновременно служит у Жуковского своеобразным эквивалентом, заменяющим объект. Тип индивидуально рожденного «сквозного» слова, замещающего объект, в лирике Жуковского сформировался не сразу, зато очень рано возникает стремление к замещению. Поначалу для этого используется традиционный материал: мифологические атрибуты, освоенная уже поэзией классицизма и предромантизма аллегорическая образность, олицетворения Труда, Надежды, Тишины. Стихотворения Жуковского «Моя богиня» (1808), «Мечты» (1812), «К Батюшкову», «Уединение» (1813) и др. строятся на движении персонификаций, сменяющих одна другую, сознательно нагнетаемых в композиции стиха.

В стихотворении порою «душно» от скопления персонифицируемых понятий, они становятся вехами, узловыми моментами в движении лирической мысли. Фантазия, Счастье, Истина, Дружба, Любовь, Задумчивость, Тишина, Уединенье — кочуют из одного стихотворения в другое; перед нами как бы смотр основным духовным ценностям, на которые опирается поэтическое жизнеощущение раннего Жуковского. «Сквозное» слово здесь пока что абстрактно. Жуковский стремится преодолеть его абстрактность, используя аллегория:

И быстро жизни колесница
Стезю младости текла;
Ее воздушная станица
Веселых призраков влекла:
Любовь с прелестными дарами,
С алмазным Счастье ключом,
И Слава с звездными венцами,
И с ярким Истина лучом...

Мечты



Но и аллегория не удовлетворяет поэта, и гораздо чаще он развертывает «сквозное» слово в лирическую композицию, формы которой были освоены уже поэзией XVIII века. В державинской оде «На смерть князя Мещерского» смерть, предстающая в образе мифического всадника, «глотает царства», приходит, «как тать, и жизнь внезапу похищает», «точит лезвее косы» и т. д. И эти «действия» смерти складываются в серию условных импульсов, питающих движение лирической темы. Карамзин в программном стихотворении «Меланхолия» создает образ сложной эмоции, прослеживая ее оттенки во внешних проявлениях. Здесь-то и приходит на помощь олицетворение:

О Меланхолия, ты мне милее всех
Сравнится ль что-нибудь с твоей красою,
С твоей улыбкою и тихою слезою...

С любовью ему ты руку подаешь
И лучше радости для горестей немилрой
Ласкаешься к нему и в грудь отраду льешь...

Аналогичными средствами пользуется и ранний Жуковский. Но уже в стихотворении «Уединенье» традиционная цепочка персонификаций:

С толпой видений Страх,
Унылое Молчашье,
И мрачное Мечтанье
С безумием в очах...

совмещена с перспективными для лирики поэта новообразованиями:

Вчера — воспоминанье,
И Ныне — тишина,
И завтра — упованье...

а в довершение всего появляется и «магическое Там».

«Сквозное» слово зрелого Жуковского тяготеет к символу, но насыщенное невиданными ресурсами образотворчества, оно постоянно несет в себе возможность развернуться в разветвленный лирический образ и действительно развертывается на композиционном «пространстве» конкретных стихотворений в неожиданные образные следствия. Во взаимосвязях отдельных образных лейтмотивов Жуковского скрыты зачатки контраста и противоречия (Теперь — Прежде, Здесь — Там, Небесное — Земное). Но эти противоречия, только возникнув, тут же преодолеваются, торжествует одно из контрастирующих начал. Единство творчества складывается, следовательно, не на антитезе, не на диалектическом столкновении полярных мотивов, но на развитии, углублении главенствующего начала, несущего в себе романтический идеал жизнеопущения Жуковского, отмеченный своеобразной фаталистической гармонией.

В своих элегиях Жуковский не столько анализирует, сколько «обозревает» душевные стихии, лирически объективированные в «сквозном» слове. Естественно, что такие слова, попадая в орбиту отдельного лирического высказывания, становятся опорными точками стиховой композиции. Так, в стихотворении «Цвет завета» реальный объект — «былинка полевая» — нужен поэту лишь как первоначальный толчок, как возбудитель душевного движения, которое уже начиная со второй строфы уходит в себя, порывая с внешней реальностью. И в этом самодовлеющем движении душевного потока «тонет былинка полевая» и «всплывает» уже лишь «цвет завета», предмет исчезает в субъективном ореоле, которым наделила его фантазия

поэта. Г. А. Гуковский писал о появлении в лирике Жуковского «особо выделенных слов, замыкающих в себе как бы вне фразы, всю полноту смысла» (Пушкин и русские романтики. М., 1965). Такое семантическое выделение слова внутри стихового целого, обособляя слово, предопределяло возможность его дальнейшего движения за пределы отдельного лирического произведения.

Кочующее слово поэта рождало своеобразный эстетический эффект напоминания, возвращения к любимому, не исчерпанному до конца и, с точки зрения Жуковского, в принципе неисчерпаемому образу. Жуковский настойчиво повторяет такое слово, как бы вслушиваясь в него и побуждая вслушиваться читателя, создавая уже одними этими повторениями впечатление особой многозначительности:

Прошли, прошли вы, дни очарованья!
Подобных вам уж сердцу не нажить!
Ваш след в одной тоске *воспоминанья!*
Ах! лучше б вас совсем мне позабыть!

К вам часто мчит привычное желанье —
И слез любви нет сил остановить!
Несчастье — об вас *воспоминанье!*
Но более несчастье — вас забыть!

О! будь же, грусть, заменой упованья!
Отрада нам — о счастье слезы лить!
Мне умереть с тоски *воспоминанья!*
Но можно ль жить, — увы! — и позабыть!

Воспоминание

В этом стихотворении сознательно выдержан принцип *монотонии*. Построенное как серия лирических возгласов, мелодически замкнутое единообразием рифмовки, охватывающим в единстве двух созвучий все три строфы, стихотворение звучит как многократно повторенный музыкальный аккорд. Организующей «нотой» его становится одно слово — *воспоминанье*, трижды возникающее, отмеченное устойчивостью стиховой позиции (каждый раз оно вынесено в конец третьей строки). И хоть в своем логическом развертывании мысль стиха отталкивается от «дней очарованья» и воспоминание возникает как побочная тема, побочный этот мотив становится мелодическим центром всего стихотворения (оправдывая его название), а слово *воспоминанье* мелодически подчиняет себе весь словесный материал.

«Сквозное» слово здесь вписано в устойчивый поэтический оборот (тоска *воспоминанья*), оно строит образ, оксю-

морность (характерное для Жуковского совмещение тоски и счастья в эмоции воспоминанья) которого едва-едва намечена: «о, будь же, грусть, заменой упованья». Образ скрывает в себе приглушенные грани, неразвернутые оттенки смысла, смутно брезжущие глубины. Нам дано почувствовать их, потому что к нашему восприятию «сквозное» слово подключает тот контекст, ту образную траекторию, которую прочертило оно в лирическом творчестве поэта, прежде чем попасть в композицию данного стихотворения. Тут неизбежно предполагается воскрешение ассоциаций, встречающая работа воображения, восстанавливающего знакомую образную цепь.

В историко-литературном плане речь здесь идет о более тесных, можно сказать, более интимных отношениях между автором и читателем, чем те, которые были узаконены прежней литературной эпохой. Жуковский больше доверял читательскому восприятию, его поэтическое слово не столько определяло духовные ценности, сколько намекало на них, одновременно формируя художественный контекст, в котором намек мог быть осознан. С читателем словно бы заключался некий художественный контракт на интуитивное постижение того, что не могло быть раскрыто полностью в отдельном лирическом высказывании.

Нечто подобное (только не со словом, а с поэтической «формулой») происходит и в письмах Жуковского, в которых встречаются многочисленные случаи поэтического автоцитирования. В письмах к Маше Протасовой и к Воейковой Жуковский с настойчивостью заклинания повторяет свою знаменитую декларацию из «Теона и Эскина»: «Все в жизни к великому средство». По контексту писем чувствуется, что формула эта падает на подготовленную душевную почву. «Ты мне напомнишь, — пишет Жуковский Маше, — „все в жизни к великому средство“».

Поэтическая строка вызывает к прошлому, к тому диалогу душ, смысл которого понятен только его участникам. За нею стоит целый мир глубоко интимный, к нему достаточно лишь прикоснуться, чтобы воскресла его волнующая полнота, смутная вязь чувства. Вместе с тем в слове отсвечивает не только прошлое, но и настоящее, душевная ситуация, отмеченная трагическим надломом, предчувствием неизбежной утраты.

Письма, о которых идет речь, — письма дерптской поры, когда для Жуковского окончательно выяснилась тщетность всяких надежд на личное счастье. В них поэт



не только лихорадочно хватается за воспоминания, он еще и бунтует против нелепостей судьбы. Готовность к самоотречению перебивается гневом, раздражением против обстоятельств. В окружении размышлений, тревожных и грустных, но уложенных тем не менее в стилистически безукоризненные, точно под влиянием художественной инерции сглаженные строки, прорывается вдруг стон огромной тоски, выплеснувшейся в каком-то детски-беззащитном, обнаженно-искреннем призыве: «Маша, откликнись. Я от тебя жду всего. У меня совершенно ничего не осталось». И вот словно бы желая избавиться от соблазна духовного несмирения, Жуковский с гипнотизирующим упорством повторяет свой лозунг: «Все в жизни к великому средство». Лозунг этот обрастает в письмах сложными смысловыми наслоениями, вбирая в себя старый душевный опыт и всю противоречивость переживаемых психологических движений.

Воскрешение уже ранее навеянного читателю поэтического смысла и наращивание нового совершается в «сквозном» слове Жуковского всякий раз, когда оно попадает в новый контекст лирического высказывания. В восприятии этого слова момент узнавания эстетически столь же важен, как и момент смысловой новизны. Соприкасаясь с поэзией Жуковского, русский читатель той поры вступал в мир устойчивых ценностей, закрепленных словом. Здесь самое повторение слова фиксировало устойчивость художественного бытия, противопоставленную шаткости и текучести реальной действительности, как ее воспринимал Жуковский.



И. С. КУЛИКОВА

ДВЕ ЦВЕТОВЫЕ КАРТИНЫ МИРА

Известно, что умение читать художественную литературу предполагает глубокое и тонкое понимание прочитанного. Но достаточно ли этого? Полистайте еще раз «Неодетую весну» Пришвина или «Мещорскую сторону» Паустовского. Это лирическая пейзажная проза, обращенная не только (и не столько) к разуму читателя, но и к его чувствам: словесный пейзаж надо увидеть и услышать.

Одно из наиболее сильных человеческих ощущений — видение мира в цвете. Мы довольно легко запоминаем краски, и зрительное представление цвета нетрудно вызвать, назвав соответствующее слово. Поэтому языковые средства обозначения цвета, доступные не только разуму, но и чувству, располагают очень большими изобразительными возможностями.

Используя произведения Пришвина и Паустовского, писателей-живописцев, постараемся показать, как словопонятие превращается в слово-образ, как писатели учат видеть богатство красок вокруг нас. Обязательный элемент

стиля этих авторов — цветопись. Это значит, что цветообозначения (прилагательные, существительные и глаголы) специально отбираются и распределяются в тексте так, чтобы средствами языка воссоздать зрительно осязаемую цветовую картину мира.

Оба писателя интересуются цветом по двум причинам. Во-первых, тематика их произведений по преимуществу пейзажная, а пейзаж требует красок. Этим объясняются общие черты цветописи Паустовского и Пришвина — богатство и реалистическая точность. Во-вторых, для обоих авторов бесспорна близость двух родов искусств — литературы и живописи. «Мое настоящее искусство — живопись, — признается Пришвин, — но я не могу рисовать, и то, что должно быть изображено линиями и красками, я стараюсь делать словами». Отсюда интерес к «технике» цветописи и прямая соотнесенность словесной картины с различными видами изобразительного искусства (масло, акварель, графика).

Цветовое слово может быть одиночным. В этом случае его живописная сила обусловлена контекстом: она велика, если цветовой облик — единственная зрительная деталь: «... по-прежнему волновался *желтый* горный камыш» (Пришвин); она велика, если рядом есть другие образы, ориентированные на зрительные представления: «*Оранжевая* заря была строгая и стекленеющая, лужи на болотах горели от нее, как окна» (Пришвин). Если же в пределах небольшого отрезка текста сосредоточено несколько цветowych слов, живописная задача явно выдвигается на первый план: «... везде видишь на осиновом *сером* листовом подстиле клоки *белой* заячьей шерсти» (Пришвин); «У лесничего были *льняные* волосы, *белесые* ресницы, *серые* глаза, и ходил он в светлом, *стального цвета* костюме» (Паустовский).

Однако для сопоставления словесного изображения с картиной недостаточно высокой концентрации цветообозначений. Например: «В Урженском озере вода *фиолетовая*, в Сегдене — *желтоватая*, в Великом озере — *оловянного* цвета, а в озерах за Прой — чуть *синеватая*. В луговых озерах летом вода прозрачная, а осенью приобретает *зеленоватый* морской цвет и даже запах морской воды. Но большинство озер — *черные*» (Паустовский). Здесь цветовые пятна существуют каждое в отдельности, не совмещаясь, а следовательно, не образуют картины. Трудно сравнивать словесный пейзаж с живописным и в том случае, если в

тексте отражена переменчивость окраски: «Над Прорвой часто стоит легкая дымка. Цвет ее меняется от времени дня: утром — это голубой туман, днем — белесая мгла» (Паустовский).

Параллель с произведением живописи естественна для относительно статичного описания, включающего по крайней мере два цветовых слова, которые соотносятся обязательно с пространственно совмещенными красочными пятнами. Принцип соотношения цветов двойкий. Фон и окрашенный предмет на нем: «Дым из паровоза рвался клубами вверх и казался необыкновенно *белым* на *аспидном* небе» (Паустовский). Или — соседство нескольких окрашенных предметов: «Не могу оторвать своих глаз от *зеленых* свечей на соснах и от молодых *красных* шишечек на елках» (Пришвин).

Живописный эффект такого текста зависит от того, какие именно цветовые слова и как в нем совмещены. Сопоставим близкие по содержанию описания: «Были ирисы от *бледно-голубых* и почти что до *черных*, орхидеи в с е в о з м о ж н ы х оттенках, лилии *красные, оранжевые, желтые*, и среди них везде звездочками *ярко-красными* рассыпана гвоздика. По этим долинам, простым и прекрасным цветам всюду летали бабочки, похожие на летающие цветы, *желтые с черными и красными* пятнами аполлоны, *кирпично-красные, с радужными* переливами крапивницы и огромные удивительные *темно-синие* махаоны» (Пришвин); «Кое-где заросли шиповника прерывались и в прогалинах цвел стройными свечами *синий*, почти до черноты, шпорник. За ним в неслыханной густоте вздымалось, переливаясь солнечной рябью, разнотравье: *красная и белая* кашка, подмаренник, *белоснежный* поповник, дикая мальва с прозрачными на свету *розовыми* лепестками и сотни других цветов, чьи названия ни Маша, ни летчик не знали» (Паустовский).

Обе картины цветные, яркие, но по-разному. Долипа цветов у Пришвина — пестрый сине-красно-желтый ковер, особенно если восполнить фон — сочную зелень травы. Луговое разнотравье у Паустовского, при всей яркости, все же не лишено гармонии: единственное контрастное пятно (синий до черноты) пространственно отделено; названные цвета (красный, белый, белоснежный, розовый) и не названные, но представляемые (бело-желтый подмаренник, желтое сердечко ромашек) действительно «переливаются рябью», но гармоничной, близкой по общему цветовому

впечатлению солнечному свету. Пришвин отказывается от детализации оттенков, полагаясь в подобных случаях на опыт читателя (орхидеи всевозможных оттенков), он регистрирует чистые цвета, варьируя только их насыщенность и светлоту (бледно-, ярко-, темно-). Паустовский внимательнее к оттенкам, полутонам: красный — розовый, белый — белоснежный. Даже лексически тождественные сочетания (почти что до черных — почти до черноты) функционально различны: у Пришвина черный — самостоятельное цветовое пятно, у Паустовского — лишь оттеночная характеристика синего цвета. Подобная полутоновость цветописы несколько приглушает, смягчает ее яркость.



Случайны или типичны эти свойства цветописы — яркая пестрота Пришвина и гармоничная полутоновость Паустовского?

Пришвинской цветописы свойственна обобщенность. Излюбленные цвета писателя — простые и яркие: черный, белый, красный, желтый, зеленый. Это не особенность зрения. Напротив, Пришвин может удивительно тонко улавливать нюансы цвета: «... там *красный* снегирь на *белом* снегу, там *желтоватый* беляк на *синеватом* снегу, там тоже *белая*, но на *синем*, мертвом, — *розовая*, живая березка»; «Все больше и больше на солнце *синеют* белые снега, *розовеют* белые березы, и *желтеют* спящие на *голубом* снегу *белые* зайцы».

Обобщение цвета для Пришвина — это и результат детски-жизнерадостного мировосприятия, и живописная манера. Иногда во имя такой манеры писатель жертвует даже реалистичностью: *красный* кипрей (у Паустовского он *розовый* или *пунцовый*), *черный* глухарь выходит на *белый* мох (сам же Пришвин в другом месте определяет цвет ягеля как *зеленовато-белый*, *лунный*). Путь к обобщению цвета легко прослеживается в следующем отрывке: «Это была северная заря, вся *малиновая*, блестящая, как в елочных игрушках бывало, в бомбоньерках с выстрелом особая прозрачная бумага, через которую посмотришь на свет, и все бывает окрашено в какой-нибудь *вишневый* цвет. Однако на живом небе не одно только *красное*: посредине шла *густо-синяя*, стрельчатая

полоса, ложась на *красном*, как дирижабль, а по краям разные прослойки тончайших оттенков, дополнительных к основным цветам» (опять не названы!). Оттенки цвета — малиновый и вишневый — нейтрализуются в красном. Зачем? С малиновым (или вишневым) синий цвет гармонирует, а с красным — контрастирует. В этом-то эффекте контраста и заключена, по всей вероятности, основная цель обобщения цвета.

В этом же причина и другого явления: отрезки текста с высокой концентрацией цветowych слов (5—12) не так часты у Пришвина. Для него типичнее столкновение двух-трех цветов, хотя количество цветообозначений может быть и большим за счет дублетов-усилителей: «А вот на безжизненно *желтом* пастбище показываються пятнами, как блюдечки, *покрасневшие* (I) остатки листьев азалий, до того заметные и такие *живо-красные* (II), что кажутся *кровью* (III) убитых оленей: пролилось и осталось *красным* блюдцем (IV)». Очень распространены контексты с двумя цветовыми прилагательными, называющими основные цвета: «Сучья торчали *черные*, узловатые, рассекая до горизонта *голубое* небо»; «Месяц скоро взомел, и показалась в поле *черная* мельница. Так чисто стало и заметно на *белом*...»; «Прекрасны *голубые* тени весеннего света на *белом* снегу»; «... в снегу под этой березкой, *темнея* на *голубом*, начинался первый ручеек»; «... под ногою *лиловый* вереск и *красная* брусника»; «Тут был и мох со своими *голубыми* и *красными* ягодами, *красный* мох и *зеленый*, мелкозвездчатый и крупный, и редкие пятна *белого* ягеля со вкрапленными в него *красными* брусничинами...»; «Это манчжурское ореховое дерево теперь из-под *красных* листьев винограда просвечивает *золотом*, и всюду то на *красном*, то на *желтом*, там и тут висели чуть тронутые морозом спелые *черные* кисти амурского винограда».

Чаще всего совмещаются контрастирующие цвета: черный — белый, черный — голубой, черный — желтый, черный — красный, зеленый — красный. Контраст основных, чистых и насыщенных, цветов придает пришвинской живописи особую яркость. Цветопись Пришвина, кроме того, конкретно-предметна: на фоне располагаются не аморфные цветочные пятна, а имеющие вполне определенные очертания ветки, камня, листа, цветка, креста, животного и т. п.

Пейзажам Пришвина свойственна обобщенность и контрастность цвета. Эти черты живописной манеры в соединении с двухцветностью, причем один из контрастирующих цветов чаще всего черный, придают многим пейзажам Пришвина лаконичность и выразительность гравюры: «Весь океан голубеет, и чернеются на голубом разные скалы»; «На фоне *красной* земли виднелись *черные* силуэты камней россыпи»; «Из-под *черной* лесной воды выбиваются и тут же над водой раскрываются *ядовито-желтые* цветы»; Каждый день кольцо сжимало все сильнее и сильнее *черную* воду в *белых* берегах»; «Как живые в диком лесу по *черной* реке плывут *белые* березовые дрова».



Паустовскому не абсолютно чужды контрастные зарисовки, но в общей системе его цветописи сравнительно редкие яркие мазки смотрятся совсем по-иному, чем у Пришвина. Так, в «Романтиках», раннем своем произведении, Паустовский бросает *зеленые* огни маяка в *черную* воду, расчерчивает *оранжевый* вечер *черными* дождями. Но в этом контрасте есть некоторая навязанность, кажется, что писатель насилует свои ощущения, подгоняя их под заданную модель: именно так видит мир один из героев повести, художник Винклер, на этюдах которого *желтая* пароходная труба на *черном* небе; *черная* вода, *черные* контуры парохода и только один *красный* огонь. То, что такое цветовосприятие неорганично для Паустовского, доказывает все его дальнейшее творчество: контрастная яркость у зрелого писателя редка и всегда реалистически мотивирована: «Молнии перебежали по *черным* садам и *белым* соборам»; «Этот цвет особенно хорош осенью, когда на *черную* воду слетают *желтые* и *красные* листья берез и осин».

В тех же «Романтиках» зарождается и типичная для Паустовского гармоничность красок, вначале тоже несколько надуманная, распространяемая на несопоставимые предметы и явления: «На бахчах *желтыми* горами лежали перезревшие тыквы. *Белая* пыль дымилась из-под копыт лошадей, над облаками *розовело* ленивое солнце ... Мы долго пили крепкий *кирпичный* чай. *Оранжевый* вечер дремал над песками». Переход от яркого контраста к

тонкой гармонии довольно хорошо ощущается в описании Севастополя: дни, *синие* и до конца прозрачные; ветер, горячий и *синий* до боли; *розовый* мыс, в воде, *прошитой* слоистыми *зелеными* лучами, *черная* корма и ржавый руль; *серебряные* рыбешки в *зеленой* воде; сверкнувшая на солнце *черная* туша дельфина; яркий *синий* огонь камня в перстне; моряки в *белом* с *золотыми* кортиками. При всей яркости картины многоцветный *сине-розово-зелено-черно-белый* контраст смягчен: концентрация цветовых пятен меньшая, чем у Пришвина (они разбросаны на полутора страницах текста); почти нет благоприятных для проявления контраста парных сопоставлений, а те, что есть, скорее гармоничны (*серебристый — зеленый, белый — золотой*); контрасту мешает подчеркнутая *непредметность* цвета: в поэтических сочетаниях *синие дни* и *синий ветер* цвет приобретает почти самостоятельную материальность, будто нечто *синее* и прозрачное обволакивает все, гармонизируя пестроту.

У зрелого Паустовского гармоничность колорита становится программной: описание, насыщенное цветом, обычно подчинено господствующему тону.

И у Пришвина можно встретить картины с преобладанием одного цвета, но с чисто количественным, когда нужное прилагательное повторяется несколько раз: «*Статуи были белые, а солнце над ними золотое, деревья дымчато-зеленые и над ними золотое солнце; вода синяя и над ней золотое солнце*». У Паустовского в описание включаются разные цветковые прилагательные, которые в той или иной мере содержат один общий тон. Нередко колорит задается вполне открыто. Так, в пейзаже из последней главы «Золотой розы» находим краски «созревшего до соломенной спелости лета»: в *огненных* бальзаминах на окнах, в *желтых* иммортелях на сухих пригорках, в белой гвоздике с *красноватыми* пятнышками, *красноватой* пыли спор папоротника, *желтых* шишках и горячей *коричневой* трухе пня, в стрекозах с *красными* крылышками, *лиловых* зонтичных цветках, в *желтоватых* огоньках солнечного света на каплях смолы. И все это удивительно гармонично сливается с *густой зеленью* леса, *изумрудным бархатом* мха, *синими* твердыми колокольчиками на чистом *сером* песке, *синеватой* далью и *белыми* облаками.

Гармоничность красок сочетается с их смягченностью, которая достигается или оттеночным суффиксом *-оват-*,

или полутоновыми синонимами, писатель обращает внимание на переходы тонов: «Ночь мутнела, воздух наливался *слабой синевой*. Потом эта синева переходила в мягкий *серый* цвет. *Черные* ели тяжело стояли среди утренней мглы, как будто их выковали из *позеленевшего чугуна кузнецы*». Здесь нет ни одного насыщенного и абсолютно чистого цвета, даже черный оказывается зеленоватым.



Гармоничность, полутоновость, тончайшие переходы цвета и, сверх того, неоднократно подчеркиваемая прозрачность красок — все это позволяет говорить об акварельной технике многих пейзажей Паустовского. Но есть у Паустовского и иные цветковые картины, заставляющие искать другие аналогии в живописи. Цвет у него часто оторван от предмета. Этот отрыв словесно оформлен по-разному: определяемыми нередко бывают непредметные существительные — тон, цвет, огонь, пламя, свет, мгла, пятно, полоса и т. д.; цветковые прилагательные входят в состав многочисленных сочетаний при одном определяемом слове: «Десятки пестрых, как попугаи, фелюг — *карминных, желтых, зеленых, белых, синих и черных с золотыми ободами по бортам* — шли, пеня воду, навстречу нашему теплоходу»; цвет передается с помощью существительных: «Путаница *багреца, червонного и белого золота, малахита, пурпура и синей тьмы* началась в лесных даях».

В результате цвет подается как совокупность красочных пятен. Писатель как бы издали смотрит на предметы, на расстоянии они теряют конкретность очертаний, сливаясь в яркую контрастную, а чаще в гармоническую картину.

В манерах цветописа Паустовского и Пришвина есть серьезные различия: среднерусская и северная природа, увиденная глазами двух писателей, повертывается к читателю разными живописными сторонами. Достигается это живописное, зримое различие средствами слова, нужно только увидеть то, что стоит за его привычной звуковой оболочкой и скудным значением.

ИЗ ЖИЗНИ ОДНОЙ МЕТАФОРЫ

Эскиз
к будущему
«Словарю
метафор»



А. Н. ШУСТОВ

В последнее время замечается повышенный интерес к изучению метафор русского языка. Метафора, как известно, — это употребление какого-либо слова или выражения не в прямом его значении, а в переносном. «В основе метафоры лежит неназванное сравнение предмета с каким-либо другим предметом на основании признака, общего для обоих сопоставляемых членов» (А. Квятковский. Поэтический словарь. М., 1966).

Русская речь очень богата метафорами. Одни из них умирают, другие возникают вновь. Об одной метафоре, живущей уже более ста лет и тесно связанной в основном с историей техники, и пойдет речь. В этой метафоре в качестве эталона для сравнения взят образ коня. Авторы метафоры привлекли такие качества этого животного, как работоспособность, выносливость, скорость в беге... Эти признаки были пренесены на другие предметы.

Конь (лошадь) был одним из первых животных, прирученных человеком еще в глубочайшей древности. Образ коня — верного друга человека издавна использовался сочинителями. Даже само поэтическое творчество уподоблялось скачке или полету: у греков существовал Пегас — крылатый конь муз и поэтов; на востоке — легендарный Мерани и небесный конь Бурак. В сказках многих народов действуют волшебные кони, проходящие сквозь огонь

и воду, летающие на небо и спускающиеся под землю.

Одним из первых предметов, который с незапамятных времен связан с именем коня, является гребень, продольный брус двускатной крыши (древнерусский *кнес* — князь; позже: князек — конек). Концы этого бруса часто имели вид конской головы. Многие технические объекты назывались именем коня. Но, пожалуй, больше всего повезло в этом отношении паровозу.



Сравнительно недавно в «Литературной газете» (1969) были напечатаны следующие строки: железнодорожный путь «настолько прочен, что позволяет машинисту гнать стального коня карьером». Метафора звучит вполне современно, и трудно даже поверить, что она родилась одновременно с рождением железной дороги. Еще в 1837 году одна из русских газет так описывала поездку по первой железной дороге между Петербургом и Царским селом: «...только ветер свистит, только конь пышет огненной пеною, оставляя за собой белое облако пара...»

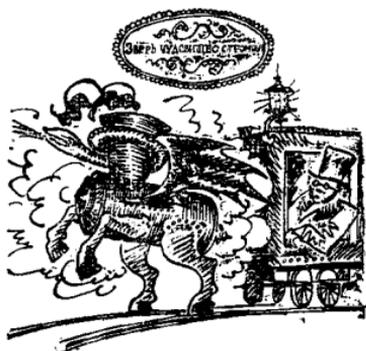
Если верить современникам, то при открытии С.-Петербургско-Московской железной дороги (1851) Николай I, потрогав паровоз рукой, произнес: «Вот какую я себе нажил лошадку». А в одной из популярных в те годы песен пелось:

Ну уж дивная лошадка!..
Ай да конь наш самокат
Русской удалью богат!

С некоторой иронией употребляет эту метафору князь П. А. Вяземский, проезжая по железной дороге «между Прагою и Веною» (1853):

...меня мчит ночью темной
Змий — не змий и конь — не конь,
Зверь чудовищно огромный
Весь он пар и весь огонь!
Бьют железные копыта
По чугунной мостовой.

В стихотворении Ф. Н. Глинка «Две дороги» (1860-е годы) шоссе так «рассказывает» о своей сестре «чугунке»:



...там и свищет и рычит
Заклепанный в засаде леший.
И без коней обоз бежит...

Из советских поэтов удачно использовал эту метафору С. Есенин. Поэт рассказывает о том, что по степи бежит «на лапах чугунных поездов», а за ним «скачет красногривый жеребенок...»

Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?

Аналогично в «Письме деду» (1924):

Доверься ты
Стальной кобыле,
Ах, что за лошадь,
Что за лошадь паровоз!

Столь значительный хронологический перерыв (около 80 лет!) в употреблении различными поэтами метафоры применительно к паровозу объясняется тем, что к ней быстро привыкли, поскольку сам паровоз широко вошел в повседневную жизнь. Метафора зазвучала вновь под пером поэта, пишущего от имени жителей деревни, ранее никогда не видавших парового чуда.

Долгое время на рельсовых дорогах России (особенно городских) применялись в качестве локомотивов (тягачей) не только паровозы, но и лошади. Отсюда название таких поездов — конки. По инерции и трамвай первое время называли «электрической конкой». До сего времени помещения для стоянки локомотивов на железной дороге именуются стойлами. В речи транспортников вполне уместно такое, например, выражение: «Тепловозное депо на два стойла».

Другой объект, который и до сих пор часто уподобляется коню, — трактор.

Русский крестьянин был издавна задавлен тяжелым трудом. Труд этот с ним честно делил конь. Крестьянину приходилось «...с товарищем-конем на поле целый день трудиться с силой новой...» (С. Дрожжин). И не даром в народе жила загадка о коне: «Не земледелец, не плотник, а первый в деревне работник».

В. И. Ленин придавал большое значение техническому перевооружению крестьян. Еще в 1919 году он мечтал о том, чтобы дать им «100 тысяч первоклассных тракторов»

(ПСС, т. 38, стр. 204). Именно с трактором, а не с трудягой-конем и допотопными орудиями должен прийти к коммунизму крестьянин, по мысли Ленина: мы тогда «в состоянии будем пересесть, выражаясь фигурально, с одной лошади на другую, именно с лошади крестьянской, мужицкой, обнищальной, с лошади экономий, рассчитанных на разоренную крестьянскую страну,— на лошадь, которую ищет и не может не искать для себя пролетариат, на лошадь крупной машинной индустрии, электрификации, Волховстроя и т. д.» ПСС, т. 45, стр. 405).

Вот почему пришедший на смену коню трактор крестьяне ласково окрестили «стальным конем». Возникшая в разговорной речи, новая метафора (новая применительно к новому механизму — трактору) была использована поэтами. Пожалуй, первым в советской поэзии ее употребил Б. Корнилов в стихотворении «Лошадь» (1925):

...есть другие кони,
Из железа кони,
Из огня...

А в другом стихотворении («На Керженце», 1927) поэт несколько конкретизировал этот образ:

...тракторы есть —
Жеребцы с металлическим телом.

В XIV годовщину Октября в «Известиях» было напечатано стихотворение Д. Бедного «Бойцам за красную жизнь», в котором также есть строки, посвященные тракторам:

Чересполосица и давка
Кому, отсталому мила?
Сохе-кормилице — отставка:
Плохой кормилицей была.
Доселе дикой целиною
Идут ряды стальных коней.
Кулак лишь бредит стариною,—
Не беднякам рыдать по ней.

В 30-е годы писал о тракторах-конях А. Сурков:

Мы тракторы выводим
С рассветом на поля.
Стальные наши кони
Бегут, не устают.

Огромный рост числа тракторов нашел отражение в знаменитой «Песне трактористов» (1937) В. Лебедева-Кумача:

Ой вы, кони, вы, кони стальные,
Боевые друзья-трактора,
Веселее гудите, родные,—
Нам в поход отправляться пора!..
Мы с чудесным конем
Все поля обойдем...

Песня впервые прозвучала на всю страну в кинофильме «Трактористы» и благодаря ему стала очень популярной. «Стальные кони» приобрели широчайшую известность; тем более, что производство тракторов в нашей стране неуклонно росло из года в год.

На заре коллективизации В. И. Ленин уделял много внимания и выпуску электроплугов. На испытании одного из них Владимир Ильич присутствовал. Этот факт дал повод поэту Н. Заболоцкому обновить привычную метафору. В стихотворении «Ходоки» (1954) он писал, что Ленин с крестьянами

Говорил о той поре, когда
Выйдут электрические кони
На поля народного труда.

Сейчас метафора «стальной конь», как синоним трактора, употребляется чаще не в поэзии, а в публицистике. Доярка А. Смирнова пишет на страницах газеты: мы правы, когда отводим трактору решающую революционную роль в деревне; «низкий поклон нашему стальному коню!». В статье о лучшем пахаре страны (трактористе номер один 1969 года Е. Низовских) добрым словом упоминаются механизаторы, «которые уже в первые годы коллективизации сели на стального коня».

Новые народные загадки о тракторе воссоздают живой образ коня:

Кнутом не гонят,
Овсом не кормят,
А как пашет —
Семь плугов тащит.

Железный конь,
В животе огонь,
Сена не просит,
Пашет, сеет, косит.

Не менее образно и ярко звучала в свое время эта метафора и применительно к велосипеду.

Как только не рекламировали велосипед в конце XIX века! 29—30 октября 1895 года в Москве состоялось соревнование русского велогонщика М. Ф. Дзевочки с американским ковбоем Дж. Блисдемом. Ковбой должен был скакать на 10 лихих конях, меняя их на каждом кругу, а Дзевочко — ехать на велосипеде. Победил велосипедист: за оба дня соревнований он обогнал наездника на 4 версты и 380 сажень. Тогда же в журнале «Циклист» был помещен репортаж под характерным заголовком «Два коня»: «Один — живой, горячий, с раздувающимися ноздрями, не стоящий на месте. Другой — стальной, легкий, холодный, и... безмолвный».



Тот же журнал «Циклист» сообщал, что в Петербурге «открылся каток в Юсуповом саду на Садовой улице. Многие любители велосипедной езды перенесли свое поле деятельности именно сюда, заменив стального коня парой стальных коньков». Как видим, и другие спортивные орудия уподоблялись быстроходным коням, что позже нашло свое отражение также и в загадках: «Два серебряных коня по воде везут меня, а вода-то не простая, словно каменная» (коньки); «Два березовых коня по снегам везут меня. Кони эти рыжи, а зовут их?» (лыжи).

Младший брат велосипеда — мотоцикл также удостоился чести называться именем коня... Летом 1970 года на ленинградском мототреке состоялось состязание конников на приз «Серебряные шпоры». В отчете об этом соревновании журналист написал: «...раз в год стальные кони уступают свое место лошадям настоящим».

Не миновал этого почетного сравнения и автомобиль.

У первых конструкторов автомобилей (в России их называли «самобеглыми колясками» или «самокатками») наблюдалось стремление «скопировать» лошадь. Д. Гордон в 1824 году спроектировал паровой автомобиль с железными ногами.

В 1901 году в России начал выходить бесплатный журнал для шоферов-любителей «Автомобиль». В первом же, программном, номере читателям предлагалась уже знакомая метафора: «Автомобиль, его мотор — вот конь и ноги нашего XX века». И когда 1 сентября 1907 года первый русский таксомотор вышел на улицы Москвы, на его ку-

зове красовался плакат: «Изовозчик. Плата по соглашению».

Метафора «конь» использовалась поэтами не только при описании различных технических объектов. Ее применяли и по отношению к монументальным произведениям искусства, «оживляя» конские статуи. В первую очередь необходимо назвать очень емкую, аллегорическую метафору Пушкина из поэмы «Медный всадник» (1833):

Кумир на бронзовом коне...
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?..
За ним несется Всадник медный
На звонко скачущем коне...

Метафора Пушкина стала крылатым словосочетанием.

Участник штурма рейхстага поэт В. Субботин написал стихотворение «Бранденбургские ворота» (1945) о символе прусской военины:

Не гремит колесница войны.
Что же вы не ушли от погони,
На верху бранденбургской степи
Боевые немецкие кони?
Вот и арка. Проходим под ней,
Суд свершив справедливый и строгий.
У надменных державных коней
Перебиты железные ноги.

Лихие скакуны древности несли на своих спинах храбрых воинов-джигитов. Только ветер свистел в ушах. Не удивительно, что, увидев золотые фигурки этих коней, поэт Н. Тихонов в стихотворении «На Храмгесе» (1948) сравнил с ними движение электрического тока:

Золотые кони тока
Полетят по проводам...
И в Тбилиси я с отвеса
Вижу с Цалкинских высот
Золотых коней Храмгеса
В синих улицах полет...

Несколько неожиданна и в высшей степени поэтична метафора Ф. И. Тютчева, в которой коню уподобляется море, волна:

О рьяный конь, о конь морской,
 С бледно-зеленой гривой...
 К брегам направив бурный бег,
 С веселым ржаньем мчишься,
 Концыта кинешь в звонкий брег
 И — в брызги разлетишься!..



Вода сравнивалась с конем у многих народов. Известны русские загадки: «Между гор бежит конь вороной» (река); «Между гор, между дол бежит белый конь» (ручей). «Серебряный конь — так еще в глубокой древности называли хлебобобы степной Хакассии воду, орошавшую их поля» («Правда» 2 марта 1969). Составитель сборника русских загадок и талантливый поэт Д. Н. Садовников замечает, что татары «сравнивают реку с сивым иноходцем».

У В. Шефнера в стихотворении «Сибирские реки» (1959):

Есть реки — воды не замутят,
 Смирны, как мирные пони.
 А эти на север бегут, летят —
 Большие, вольные кони.

Яркое сравнение реки с конем встречается еще у Пушкина (1833):

Тяжело Нева дышала
 Как с битвы прибежавший конь...

В 1931 году А. Белый, подобно Тютчеву, также сравнил с конем явление природы — солнечный свет, яркий день:

И как солнечный конь
 Вдруг бросил из молний
 Мне в очи огонь.

В 1934 году И. Сельвинский написал «Песню про синего коня». Синий конь — это ветер, который по воле советского человека трудится на социализм.

Синий ветер ходит рядом,
 Словно конь. Синий конь.

В стихотворении есть и другие эпитеты коня: «лазоревый», «голубой» и даже новообразование «синь-конь».

Встречаются и более сложные случаи употребления метафоры. Так, С. Есенин сравнивает с конем «злак овсяный» (1920):

...будут колосья-кони
 О хозяине старом тужить.
 Будет ветер сосать их ржанье...



Легко заметить, что Есенин при этом отталкивался от старой народной веснянки:

Весна красна!
На чем пришла?
На чем приехала?..
На овсяном колосочке,
На пшеничном пирожочке.

Сергей Есенин сравнивал с конем овсяные колосья, а наш современник, днепропетровский агротехник профессор Н. Е. Бекаревич, сравнивает с конем большое обобщенное (и отвлеченное) понятие — плодородие почвы. Ученый так наставляет своих студентов: «Берегите коня. Подобьется, падет — никакие чудеса упряжи и смазки не покатают телегу с хлебом» («Правда», 21 августа 1970).

В 1969 году вышла книга рассказов А. Батова с собирательным заголовком (по названию одного из рассказов) «Утренний конь». Так назван Батовым мальчишка, продавец утренних газет, за то, что он носил огромные сапоги и топал ими, как портовый битюг.

Выше уже неоднократно приводились в качестве примеров загадки. Загадка сама по себе является «замедленной метафорой», точнее симфорой. Образ не названного прямо в загадке «предмета ощущается как чистое художественное представление, совпадающее с понятием о предмете» (Поэтический словарь).

Конь — животное «деревенское», тесно связанное с крестьянским бытом, вот почему в загадках множество хозяйственно-бытовых предметов и явлений природы сравнивается именно с конем. Садовников приводит свыше 30 загадок, где фигурирует конь:

Черный конь прыгает в огонь (кочерга); Сяду на конь и поеду в огонь (горшок на ухвате, сковорода и сковородник); Ел, ел конь да и в ясли упал (нож в ящик стола, месяц за облако); Конь стальной, хвост льняной (иголка с ниткой); Конь бежит, земля дрожит (гром); Конь гогочет, овса хочет (жернов); Есть на свете конь, всему свету не сдержать (ветер); Бежит конь вороной, много тащит за собой (чугунка) и так далее.

Именно в таком фольклорном стиле выдержано и начало одного из последних стихотворений А. Малышко (перевод Ю. Саенко):

...метель гривастым и стоглавым
Седым конем летит во все края.

Ранее похожий образ встречается у А. Белого (1908):

Над крышею пурговый конь
Пронесся в ночь...

и у Б. Пастернака (1925):

Вьюга лошадю пляшет буланой...



На наших глазах старая метафора приобретает новое значение — конь рвется в небо, в космос. В одной из телевизионных «Кинопанорам» (20 января 1970) рассказывалось о том, что некоторые иностранные туристы хотят видеть в Советской России лишь балалайки да тройки. Вслед за этим ведущий с гордостью добавил: «...тройки у нас есть, но значительно чаще у нас можно увидеть таких сверхзвуковых коней...». С последними словами на экране были показаны три реактивных самолета в полете. Во время запуска трех «Союзов» (октябрь 1969) в «Правде» был помещен рисунок В. Жарина «Эх, тройка! птица тройка...», на котором изображены три космических корабля, и над каждым из них силуэт коня. Так что не будет большой неожиданностью, если кто-либо из поэтов назовет ракету «звездным конем».

Во всяком случае язык, которым описывается последнее космическое достижение, путешествие «Лунохода-1» по Луне, весьма своеобразен: «Ездили по Луне впервые, поэту вначале приходится не „рысью“ передвигаться, а „луноходью“». Слова, взятые журналистом в кавычки, относятся к привычной нам «лошадиной» терминологии.

Интересен случай трансформации русской метафоры другими народами. Так, эвенки сочинили песню (на русском языке) в честь дальневосточного спортсмена Г. Травина, совершившего в 1928—1931 годах путешествие на велосипеде по границам СССР (в том числе вдоль побережья Северного Ледовитого океана):

Железный олень, быстрый олень.
На нем козует приятель наш Травин.
У железного оленя ноги быстрые, тонкие,
Когда бегут, их совсем не видать...

Самый страшный враг любой метафоры — частое и бесцельное ее употребление. Тогда она легко превращается в банальный штамп. Букет именно таких метафор-штампов (в их числе был и «железный конь») продал Остап Бендер бездарному халтурщику Ухудшанскому. Кол-

лега Ухудшанского, член горкома писателей (из фельетона Ильфа и Петрова «Необыкновенные страдания директора завода», 1933), нашел ей применение:

Шуми, шуми, железный конь,
 Пылай в конвейере, огонь!
 Лети, мотор, в час по сто миль...

Метафору можно сравнить с золотой монетой: от частого употребления она стирается и теряет ценность.

Не претендуя на исчерпывающую полноту приведенных примеров, можно, тем не менее, сделать определенные выводы. Метафору «конь» охотно использовали и используют поэты и писатели разных поколений и школ, однако связать все случаи употребления ее в единую историческую цепь не представляется возможным. Это объясняется тем, что к новым техническим объектам люди довольно быстро привыкают, и метафора при этом тускнеет, приближаясь к штампу. Разумеется, сказанное не относится к тем случаям, когда метафора употребляется применительно к «вечным» явлениям природы. В этом случае свежесть метафоры зависит от художественного мастерства и вкуса автора, от красочности сопровождающих метафору эпитетов.

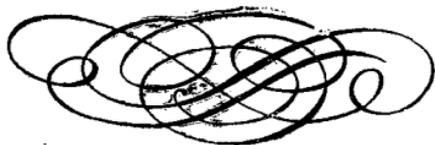
**Словарь понятий (в объеме статьи),
 которым соответствует метафора «конь»**

автомобиль	лыжи	самолет
велосипед	месяц	(реактивный)
ветер	метель	сани
вьюга	море	свет
горшок	нож	(солнечный)
гром	паровоз	сковорода
жернов	(тепловоз)	трактор
иголка	пурга	ток
кблос	река	(электрический)
коньки	ручей	«чугунка»
кочерга		электроплуг

Словарь эпитетов (в объеме статьи) к метафоре «конь»

безмолвный	лазоревый	синий
белый	легкий	солнечный
березовый	морской	стальной
большой	пурговый	стоглавый
буланный	рьяный	утренний
вольный	самокат	холодный
вороний	сверхзвуковой	черный
гривастый	седой	чудесный
железный	серебряный	электрический
золотой	сильный	

О русской рифме



Пушкин когда-то писал: «Думаю, что со временем мы обратимся к белому стиху. Рифм в русском языке слишком мало. Одна вызывает другую. *Пламень* неминуемо тащит за собою *камень*. Из-за *чувства* выглядывает непременно *искусство*. Кому не надоели *любовь* и *кровь*, *трудный* и *чудный*, *верный* и *лицемерный*, и проч.».

Шаблонных созвучий было в то время действительно немало. Пушкин над этим иронизировал еще в «Евгении Онегине»:

И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей.
(Читатель ждет уж рифмы розы;
На вот, возьми ее скорей!)

Однако они процветали не оттого, что недоставало рифм. Лексических ресурсов у нас всегда было достаточно. А каждое слово— это и потенциальная рифма. Пушкин сам убедительно показал, как велики в этом отношении возможности русского языка. К стандартной, стереотипной рифмовке прибегали эпигоны, псевдопоэты, которым вполне хватало дюжины дежурных рифм.

Правда, существовали и объективные причины, влиявшие на состояние рифмы (об этом мы еще скажем). Но русский язык ее никогда не сковывал. Он всегда был исключительно щедр и отзывчив на рифму. Это блестяще подтвердилось дальнейшим ходом развития литературной рифмы. Но раньше всего в этом убеждает опыт народа. Ведь те принципы рифмовки, которые наиболее полно отвечают особенностям русской речи и к которым впоследствии обратились поэты, в основе своей известны и фольклору.

В устном народном творчестве рифма занимает большое место. Она сложилась в нем исторически и органично входит в состав его поэтического строя. «Наш народ толь склонен к рифмам,—

писал Тредиаковский,— что и в простых пословицах, не стихами сочиненных, часто, не знаю, по какой влекущей к ним врожденной приятности, слух любит ими услаждаться».

В рифму сложено более трети русских пословиц, поговорок, загадок, прибауток и т. п. Рифмы есть в каждой частушке, целиком на рифме построен детский фольклор, его всегда оснащали свою речь раешники, она присутствует почти во всех игровых и обрядовых песнях, во множестве встречается в былинах и плачах и даже в сказках.

Но рифма служила народу не только для украшения, облаговзвучивания его поэтических творений. Он прекрасно знал и ее изобразительную силу. Например в пословицах, отмечает Даль, рифма всегда помещается на тех словах, «кои требуют отклики, ударения, внимания: и скатал было и сгладил да все врозь расползлось» (Пословицы русского народа).

Система народной рифмовки на редкость разнообразна и продуктивна. Широко используя в ней фонетическое богатство родного языка, фольклор в то же время никогда не зависел от тех условностей, которые постоянно, так или иначе, связывали литературную рифму. Наша силлабическая поэзия (конец XVII—начало XVIII века), выросшая под влиянием польской, ограничивала себя употреблением одной только женской рифмы. Для польских стихов это естественно: все слова в польском языке имеют неподвижное ударение на предпоследнем слоге. Но возможности нашего стихосложения искусственно обеднялись.

До I четверти XIX века не допускалась в русские стихи дактилическая рифма, считавшаяся «неблагородной». А систематическую разработку она получила лишь в творчестве Некрасова. Длительное время литературная рифма строилась преимущественно из слов одной грамматической категории. До середины XIX века не употреблялись, например, пары, состоящие из возвратного глагола и существительного (лица — говорится): под влиянием грамматических представлений *-ца* и *-ся* не воспринимались как эквивалентные сочетания. Народ был, конечно, свободен от этого и находил созвучия лишь по их фонетическим признакам: «Всякая небыллица в три года пригодится»; «Чья горница, тем она и кормится».

Но больше всего затормозили развитие литературной рифмы, пожалуй, правила точности. Они сложились в период перехода русской поэзии к силлабо-тоническому стихосложению (II треть XVIII века) и требовали строгого совпадения в рифмах всех ударных звуков. При это следует иметь в виду, что точная рифма XVIII века и точная рифма в нашем представлении — это не совсем одно и то же.

В народной загадке «Белая кошка лезет в окошко» мы одинаково произносим в рифмах заударные *a* и *o*. В этой позиции они читаются как редуцированный (ослабленный) звук *ъ* (*ер*) — нечто среднее между *a* и *o*, то есть для русского произношения рифма *кошка — окошко* абсолютно точная.

То же самое можно сказать и о рифме в другой загадке: «Сидит на ложке, свесив ножки». В словах *ложке — ножки* конечные слоги мы также читаем совершенно одинаково. Но для литературной рифмы XVIII века эти созвучия не были бы точными. Дело в том, что для стихов произносительная норма была в то время другой. Она основывалась, с одной стороны, на книжном, церковнославянском произношении, не допускавшем редуцирования гласных звуков, с другой, как отмечает Б. В. Томашевский в статье «К истории русской рифмы», имела «так сказать, чисто жанровую специфику», «чтение русского стиха стлчалось от разговорной речи важностью, внятностью, певучестью, с отчетливым выделением каждого слога» («Труды Отдела новой русской литературы». I. М., 1948). Поэтому если уж стабилизась, допустим, рифма *дужмой*, то к ней обязательно подбиралась, например, *угрюмой*, но ни в коем случае не *угрюмый*, иначе нарушался канон точности. И если мы порой встречаем у поэтов XVIII—I половины XIX века рифмы: *пóле — вóли*, *святýня — отнýне*, *мýльный — мóгýлой*, *рáда — отрáды*, *брáта — свáто*, то это надо рассматривать как отступление от правил.

В XIX веке отступления стали более частыми, *o* с *ы* постоянно смешивали уже все, то есть живое произношение брало верх над книжным, но от смешения других согласных поэты долгое время еще воздерживались. (У Баратынского и Дельвига нет ни одного случая смешения заударных *a* и *o*, у Языкова их всего два, у Пушкина, за исключением лицейского периода, только 21.) Процесс деканонизации точной рифмы протекал стихийно и лишь к середине XIX века получил теоретическое обоснование в высказываниях А. К. Толстого. «Гласные, которые оканчивают рифму, — когда нет на них ударения, — по-моему, совсем безразличны, никакого значения не имеют», — писал он в письме к приятелю по поводу обвинений в том, что в «Иоане Дамаскине» у него «хромые рифмы».

Свободное обращение с заударными гласными характерно и для народной рифмовки. У Даля: «Бог не Никитка, повыломает лытки»; «Хоть церковь и близко, да ходить склизко; а кабак далеконько, да хожу потихоньку». Интересно, что таких рифм немало в знаменитой сказке Н. Ершова «Конец-горбунок» (1834), созданной на основе фольклора: *Иваша — наше*, *обычай — городничий*, *десять — отвесить*, *конюшни — великодушный*, *горбатко — вприсядку*, *столицу — птицы* и т. п. В 17 случаях совмещены *o* с *a*. Неоднократно зарифмованы также *-ца — -ся*. В то же время в дру-

гих своих произведениях, тематически не связанных с фольклором, поэт придерживался традиционных рифм.

Середина XIX века явилась тем рубежом, когда раскрепощение русской литературной рифмы было в основном закончено и затем начался следующий этап в ее развитии — интенсивные поиски новых резервов созвучий. Раньше всех подверглась дальнейшей разработке составная рифма. Ее особенность в том, что созвучие складывается из двух слов (реже из трех), при этом второе обычно теряет ударение. Русские поэты давно знали составную рифму, но пользовались ею редко. Чаще всего она строилась путем присоединения к словам основных частей речи частиц, предлогов, а также некоторых местоимений:

Не споры сборы. Шляпу *на лоб*
Надвинув, держит пред собой
Стакан недопитый иной,
И рассуждает: «*Надлежало б...*».

Баратынский И. Цыганка

Как вы открыто негодуя,
На музу русскую *смотрю я*.

Лермонтов.

Журналист, читатель и писатель

Но круг этих сочетаний был довольно узок. Ограниченное использование составной рифмы, возможно, объясняется тем, что в ней есть оттенок каламбура, насмешки, что не всегда уместно. Но во II половине XIX века у нас стала бурно развиваться сатирическая поэзия. Вот тут и пригодилась составная рифма. Пожалуй, первым к ней широко обратился В. Курочкин. Его составные рифмы интересны прежде всего тем, что в них использованы еще не употреблявшиеся грамматические сочетания: что вам? — словом; сынóвнее — всё в неё; стоящей — что ещё?; не в чем — певчим и т. п.

Истинным виртуозом составной рифмы был Дм. Минаев. Кто не знает его стихов:

Область рифм — моя стихия,
И легко пишу стихи я;
Без раздумья, без отсрочки
Я бегу к строке от строчки,
Даже к финским скалам бурым
Обращаюсь с каламбуром.

Сатирические и юмористические стихи дали толчок развитию составной рифмы. Она перестала быть только каламбурной и сделалась общежанровой. С большой фантазией над нею работал Ии. Анненский: дёнь им — осённым; на поди — западе; камне — была

мне; зашёл ты — жёлты; лицо вам — пунцовым; костёр ты — простёрты; грёзы вам — рёзовом. Интересны составные рифмы Северянина и Хлебникова. Эта рифма была и одной из любимых рифм Маяковского. Раскройте любой его сборник и почти на каждой странице найдёте составные рифмы. А в поэме «Флейта-позвоночник» они есть чуть ли не в каждой строфе:

Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда уйду я, этот *ад тая!*
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!

Составные созвучия Маяковского не могут не восхищать. Он образовывал их, комбинируя слова всех частей речи в самых различных формах, и блестяще доказал, что возможности одного только этого вида рифмовки в нашем языке неисчерпаемы: лёдóв она — заколдóванный; фётровой — вётра вой; хóботом — грóба том; Австрия — пролила́сь струя; вóн его — казнённого и т. п.

У народа составная рифма не отличается столь богатым ассортиментом, но владел он ею достаточно уверенно: «К вечерне в колокол — всю работу *об угол*»; «Был у меня муж Иван, не приведи бог *и вам*»; «Указчику — чирей *за щёку*» (Даль); «Люди ложь, и мы *то ж*»; «Где просто, тут ангелов *сó сто*, а где мудрено, тут нет ни одного».

В начале XX века началась деятельная разработка так называемых усеченных рифм. Это рифмы, у которых в одном из слов рифменной пары (или в обоих) не учитываются конечные согласные звуки. Созвучие строится как бы без них, они словно отсекаются: *крьше — слышен* или на мужской основе: *парча — свечах*. В первом случае не принят во внимание звук *н*, во втором — *х*. Первую рифму следует воспринимать как рифму на *-ыше*, вторую — на *-ча*. В. М. Жирмунский по этому поводу замечает: «Возможно, что замыкающий согласный заударного слога в нашем произношении ослаблен (например, что смычные произносятся без взрыва)...» (Рифма, ее история и теория. Пг., 1923, стр. 74). На этой особенности русской речи и построены усеченные рифмы. В принципе они известны давно, но усекался в них главным образом *й*. Например, в женских рифмах: *вóлны — пóлный*; *дорóгой — мнóго*. А также изредка в мужских: *святой — высоты* (Ломоносов. Петр Великий); *Рамо — немой* (Пушкин. К сестре).

Иначе обстояло дело с усечением других согласных. На мужской основе таких рифм не было до самого начала XX века. Женские известны с конца XVIII века. Но регулярно их стали применять в конце XIX века. А массовое распространение они получили только в первом десятилетии XX века. Приблизительно тогда же

появились мужские и дактилические. Вот пример, где видим сразу две усеченные рифмы — мужскую и женскую:

По-смешному я сердцем влип,
Я по-глупому мысли занял.
Твой иконный и строгий лик
По часовням висел в рязанях.

Есенин

А вот дактилическая:

Не сынки у маменек,
в помещичьем дому.
Выросли мы в пламени,
в пороховом дыму.

Асеев

Усекаться могут и несколько согласных; у Маяковского: щек — чек — ист. Принцип усечения делает все рифмы как бы двойными. Он не отвергает традиционной рифмовки. Посмотрите, как рифмует Н. Тихонов слово *назад*:

У кого дети, жена, брат,—
Пишите, мы не придем назад.

Баллада о гвоздях

Обычная рифма на *-ат*. И то же слово, но уже в рифме на *-за*:

Как мокрые раздавленные сливы
У лошадей раскосые глаза,
Лоскутья умирающей крапивы
На колесе, сползающем назад.

Пушка

Этот способ рифмовки хорошо известен фольклору. Вот мужские рифмы: «Пошла бы в монастырь, да много холосты x »; «Пуст горшок, да сам большой», «Спекли про попа, а съел кто попал»; «Прельщает нас мир житейскими сладостями»; «Вор у вора дубинку украл»; «Здоров как бык и не знаю, как быть». У них есть разновидность: после усечения слог остается закрытым: абориген — легенд (Брюсов. У Кремля).

То же видим и в фольклоре: «Хорош кус, да не для наших уст». Женские: «Оленки в пеленка x , Окульки в люлька x »; «Спать долго — встать с долгом»; «На чужую кучу нечего глаза пучить»; «По старом муже молодá жена не тужит»; «Чудилось, что праздник, аи это поп дразнит».

Дактилические: «В людях-то не родненьки: хлебаешь щей холодненьки x »; «Не учи печй, не указывай подмазывать»; «Летит мохнатенький, летит за сладеньким (пчелка)».

В начале XX века получила распространение еще одна рифма — неравносложная, когда рифмуются слова с неравным числом после-

ударных слогов. Но употреблять ее начали еще в конце XIX века. Кажется, впервые это сделал Брюсов:

Побледневшие звезды дрожали,
Трепетала листва *гополой*,
И, как тихая греза печали,
Ты прошла по заветной *аллее*.

Мужская рифма в паре с женской! Неравносложную рифмовку широко использовал Маяковский: вечернюю — черную, прерии — берья, многие — ноги, можно — наложена, парни — бабыне; или такие: лбов — голубого, нерв — революционеров, манишь — Ламанш, парах — монарх, дурам — штурм.

Куда против нас
бочкаревским дурам?!
Приказывали б на штурм.

Неравносложная рифма основана на том, что первый последний слог в произношении всегда слабый. В разговорной речи он приближается к нулю и даже иногда выпадает: жавронки (жаворонки). Его слогаобразующая способность резко понижена, и на слух неравные слоговые структуры в рифмах легко воспринимаются как тождественные.

Мимо этой особенности нашей речи не прошел и фольклор: «Останутся грошники, куплю Маше ложки»; «Кланяется, кланяется, домой придет — растянется (топор)». Встречаются и такие варианты: «Белый тулупчик шит без рубчика (яйцо)».

Неравносложными являются и те рифмы, у которых одно из слов рифменной пары различается конечным слогом, состоящим из гласного и одного или двух согласных. Раньше всего видим их также у Брюсова:

Вслед спутнику минутному
Смотрю я долго, смутно...

Немало их у Маяковского: дети — заметили, Свету — советуем, Главтопа — топают, пошта — этого. Или на женско-мужской основе: пробрела — прилавок, мост — остов, глаза — запад, кисея — сияют.

От мух
кисея.
Сыры
не засижены.
Лампы
сияют
«Цены
снижены».

Рифмы такого типа использовал и Есенин: Пегас — мастер, синий — циником, плачу — охваченный, чащи — хрипящими.

Я люблю, когда синие чащи,
Как с тяжелой походкой волю,
Животами, листвою хрипящими,
По коленкам марают стволы.

Хулиган

В фольклоре они довольно редки, но все-таки встречаются: «Хоть за лыску [старика], да в Лысково [название села]».

В начале XX века было придумано также разноударное рифмование, когда для рифмы берутся слова с созвучными окончаниями (или целиком созвучные), но не совпадающим ударением: гóлоса — чудесá. Или у Брюсова:

Я — под синим пóлогом
На холме пóлогом...

Такие рифмы не получили распространения, но для фольклора они не редкость:

...А дай бог тому,
Хто в эвтом дому.
Ему рожь густа,
Рожь ужиниста.

Калядская песня

Сердце чует, сердце чует,
Где мой миленький ночует.
Спит в лесу у ручейка,
Жаль его, голубчика.

Частушки

Однако нетрудно заметить, что в этих стихах, благодаря особому их ритму, ударение в дактилических окончаниях фактически перенесено на конечный слог, что по существу приводит их к полному созвучию с мужскими: густá — ужинистá, ручейкá — голубчикá.

Ср. у О. Фокиной:

Золотит пыльца
Черноту ветвей.
Где же зеркальца —
Посмотреться ей?

Зацвела ольха

Огромные резервы для новых созвучий были найдены в ассонансах. Они известны в России давно. Но до первых десятилетий XX века ими пользовались весьма ограниченно. Вернее, они представляли собой небольшую замкнутую группу традиционных неточностей, в разное время узаконенных поэтической практикой, которые никогда не рассматривались как полноценный способ риф-

мовки. Пожалуй, единственным из русских поэтов, кто уделял им не случайное внимание, был Державин.

Среди старых ассонансов легко наметить несколько основных разновидностей.

1. Чередование разных согласных на том же месте рифмы — а) в мужских созвучиях: где — сме, вспомяни — любви, лучи — прости, живу — умру (Козлов); б) в женских: пародный — винóвный, разгумье — правосудье, богáтом — бра́ком (Державин).

2. «Выпадение» одного из внутренних согласных (или наоборот — присутствие «лишнего») — а) в мужских рифмах: сон — тёрн, след — твёрд, сонм — днем (Державин); б) в женских: бóгом — востóргом, полднёвный — зелёный, оны — незлóбны, дблжно — невозмóжно (он же).

XX век взял на вооружение не только все старые модели неточных созвучий, но разработал и много собственных, более сложных. Поэты нашего времени увидели в ассонансах не механическое смешение разных звуков, а возможность отыскать в словах разного звукового состава довольно близкое фонетическое сходство. Ведь очень многие ассонансы дают весьма неплохую созвучность, особенно если подкреплены совпадением опорных согласных (звуков, непосредственно предшествующих ударному гласному):

Без лат богатырю и в латах

Претит давить лимоны в лапах.

Державин. На счастье

Великолепная рифма! Не правда ли? Обычно рифмы звучат в стихах не сразу друг за другом. И если ранее прочитанной рифме дать в пару рифму не точную, а только сходную по звукам, мы можем этого даже не заметить. Кто, например, поручится, что ассонанс Пушкина *свѣтел — пѣпел* не возник у поэта произвольно? Разница глухих *т* и *п* в контексте почти не ощутима:

Смертный ми наш будет светел;

И подруги шалунов

Соберут их легкий пепел

В урны праздные пиров.

Кривцову

Как видим, русский язык позволяет добиваться «складности» по только на основе точных созвучий, но и приблизительных. Блестящее подтверждение этому находим опять-таки в фольклоре, где ассонансы встречаются в изобилии. Народ создавал ассонансы на слух, и если он применял их исключительно широко и разнообразно как полноправную рифму, значит они вполне удовлетворяли его требованиям к созвучности. Правда, неточности послеударных слогов в народной поэзии нередко восполняются за счет предупредительных. Чаще всего роль «восстановителя» выполняют опорные согласные: «черная корова весь мир поборола». В иных случаях звуковой раз-

нобой погашается присутствием одинаковых свистящих или шипящих, которые отчетливы даже тогда, когда стоят впереди опорных. «Взвыла да пошла из кармана мошна». Удачно используется также определенная близость друг к другу сонорных, например носовых *м — н*: «Галки — вороны, где ваши хоромы?»; «Каковы сани, таковы и сами». Ср. у Асеева:

Я люблю тебя, — ту самую, —
все нежней и все тесней,
Что, назвавшись мне *Оксаною*,
шла ветрами по весне.

Плавных *л — р*: «Не за то волка бьют, что *сер*, а за то, что овцу съел»; «На каменной горке воют волки (колокол)». Ср. у Есенина:

Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.

Вот еще несколько примеров, показывающих, как тонко чувствовал народ музыку родного слова: «Ему — про *Тараса*, а он: *колгораста*»; «В середине алый *сахарный*, а кафтан зеленый *бархатный* (арбуз); «Узловат *Кузьма*, развязать *нельзя* (цепь)»; «...Первая лошадь *пегая* — мимо двора *бегала*»; «Свинья *Апросинья*, боров *Василий*»; «Отложи *шашки*, да примись за *пашню*».

В начале XX века в литературе появилась еще одна новая рифма — диссонанс, широкого распространения не получившая. Ее суть в том, что в ней не соблюдается основное требование русской рифмы — совпадение ударных гласных: *солнце — румянце*, *шелесте — шалости* (Северянин); *умира́в — миро́в*, *нараста́в — Росто́в* (Маяковский). Но в фольклоре диссонансы довольно часты: «Все *Адамовы детки*, все на грехи *падки*»; «*Монастырщина* — что *барщина*».

Наконец, отметим еще одно характерное явление, получившее распространение в рифме XX века. В пределах одного созвучия поэты стали совмещать различные принципы рифмовки. Женская усеченная и ассонанс: *ли́жет — три́жды* (Маяковский); составная с усечением: *мо́лодости — мо́ла достиг* (Маяковский). Комбинированные рифмы есть и в фольклоре: «*Молись до пуну*, бог любит *докуку*» — составная плюс ассонанс; «*Матушка Софья* день и ночь *сознет* и т. д.» — усечение и ассонанс. Сокровищница русских рифм так же неисчерпаема и вечна, как и сам русский язык.

Л. В. МУКОВОЗОВ

Традиционно-
книжные
выражения
в языке
произведений
В. И. Ленина

Традиционно-книжные выражения в языке произведений Ленина образуют характерную черту его индивидуального публицистического стиля. Мы рассмотрим некоторые из этих выражений, установим их источники, выясним стилистическую роль, обратим внимание на контекстное окружение, а также на лексические и грамматические изменения, сделанные в них Лениным.

Изречение «Благодарим тебя, господи, что мы не похожи на этих мытарей» — перефразированное заимствование из русского перевода Евангелия от Луки. Оно встречается в статье «О новой фракции примиренцев или добродетельных». «*На возу* сидит примиренец. Вид у него умильный, умильный; лицо — сладенькое, сладенькое, совсем как у Иисуса Христа. Вся фигура — воплощенная добродетель. И, скромно опустив очи долу, воздевая руки горе, примиренец восклицает: „благодарю тебя, господи, что я не похож на *этих* — кивок по адресу большевиков и меньшевиков — злокозненных фракционеров, мешающих всякому движению вперед”» (Полное собрание сочинений. Т. 20, стр. 352). Изречение это использовано также в работах «А судьи кто?», «Революционная демократическая диктатура пролетариата и крестьянства» и «Как относятся к выборам в думу партии буржуазные и партия рабочая?».

Номинативное устойчивое словосочетание *гробы повапленные* (гроб повапленный — крашенный

гроб) восходит к Евангелию от Матфея. Находим его в работе Ленина «Аграрная программа русской социал-демократии»: «Классовый антагонизм не прикрывался бы фиговыми листочками гнилого бюрократизма — этого крашеного гроба для останков народной свободы, — а выступал открыто и ясно пред лицом всех и каждого, встряхивая тем самым деревенских жителей из их патриархального прозябания» (т. 6, стр. 340); в статье «Падение Порт-Артура»: «Гроб повапленный — вот чем оказалось самодержавие в области внешней защиты, наиболее родной и близкой ему, так сказать, специальности» (т. 9, стр. 156); в памфлете «Памяти графа Гейдена»: «Вот вы именно такие хамы, господа из „Товарища“... Ваши слова о свободе и демократии — напускной лоск, заученные фразы, модная болтовня или лицемерие. Это размалеванная вывеска. А сами по себе вы — гробы повапленные. Душонка у вас насквозь хамская...» (т. 16, стр. 40). Ленин применил это выражение также в статье «Третья дума» и заметке «К вопросу о смете министерства земледелия».

Контекстное окружение, сопровождающее данное выражение в произведениях Ленина, не оставляет сомнений в том, что он использовал традиционный фразеологизм в качестве разящего средства обличения с оттенком гневного сарказма. Все приведенные нами контексты живо перекликаются с источником, обличительной проповедью, направленной против фарисейского лицемерия. Однако при этом Ленин находит и новые языковые черты, усиливающие и подчеркивающие саркастическое звучание традиционного выражения. Благодаря подбору ряда уничижительных синонимов (фиговый листок, размалеванная вывеска, напускной лоск) и стилистическому распространению фразеологизма (крашеный гроб для останков народной свободы) древнее словесное оружие в руках Ленина становится острым и действенным, способным жестоко разить все сопротивляющееся общественному прогрессу. Повапленным гробом оказывается и гнилой бюрократизм царского правительства, и военная машина самодержавия, и лицемерные хамы-либералы из продажного журнальчика «Товарищ».

Выражение *страха ради иудейска* заимствовано из церковнославянского текста Евангелия от Иоанна. Этому фразеологизму присуще общезыковое значение 'из страха перед властями или какой-либо силой'. Фразеологизм отмечен нами в произведении «Две тактики социал-де-

мократии в демократической революции»: «Вот почему наша буржуазно-либеральная печать не по одним только цензурным соображениям, не только страха ради иудейска оплакивает возможность революционного пути, боится революции, путает царя революцией, заботится об избежании революции, холопствует и низкопоклонствует ради жалких реформ как основы реформаторского пути» (т. 11, стр. 39). Отметим еще одно характерное использование этого выражения, слегка измененного в лексическом и грамматическом отношениях, в работе «Социал-демократия и избирательные соглашения»: «...Партийная агитация будет говорить о партиях вообще, *намеренно* умалчивая о лицах, страха ради полицейска» (т. 14, стр. 85).

Изречение *Что делаешь, делай скорее* взято из русского перевода Евангелия от Иоанна. Эти слова произносит Иисус Христос во время прощальной «тайной вечери», обращаясь к Иуде, уже договорившемуся с иудейскими властями о выдаче им своего учителя. У Ленина этот библеизм встречаем в статье «„Революционеры” в белых перчатках»: «Русские буржуа хотят „учиться у истории” и „сократить стадии развития”: они хотят сразу предать революцию, сразу оказаться изменниками свободе. В интимных беседах они повторяют один другому слова Христа к Иуде: что делаешь, делай скорее!» (т. 10, стр. 300). Это же изречение находим в статье «О современном политическом положении», в заметке «Среди газет и журналов» и статье «Устроители раскола о будущем расколе». Словами «Что делаешь, делай скорее!» Ленин озаглавил статью, посвященную разоблачению сделки бюрократов с октябристами и кадетами. В выступлении на V съезде РСДРП, 12 мая 1907 года, в Лондоне Ленин сказал: «Буржуазный либерализм бессилен как партия интеллигентская. Он бессилен вне борьбы с революционным („темные социальные инстинкты”) крестьянством. Он бессилен вне тесного союза с денежным мешком, с помещичьей массой, с фабрикантами... с *октябристами*. Что правда, то правда. Мы давно говорили кадетам: „что делаешь, делай скорее”» (т. 15, стр. 388). И в данном случае, применяя евангельское речение к предателям революции, Ленин мастерски насыщает традиционное выражение новым политическим содержанием, даже несколько усиливая то трагическое звучание, которое присуще этим словам в источнике. Тем самым он гневно клеймит лживых лицемеров, преда-

телей народной свободы, притворно рядящихся в одежды ее защитников.

Рассмотренные нами изречения относятся к богатству русского фразеологического фонда, начавшего развитие на заре славянского просвещения, свыше тысячи лет назад. Традиционно-книжные выражения, использованные Лениным, в структурно-типологическом отношении могут быть подразделены на две группы. Фразеологизмы *поваленный гроб, страха ради иудейска* и другие не составляют отдельных высказываний, они соотносительны с одним отдельным словом — членом предложения. Фразеологизмы второй группы отличаются относительной законченностью речевой формы и содержащейся в ней мысли, они образуют так называемые «устойчивые фразы», используются в речи в качестве широко известных изречений, или афоризмов: «Благодарим тебя, господи, что мы не похожи на этих мытарей»; «Что делаешь, делай скорее»; «Врачу, исцелися сам!» и т. п.

Анализ ленинского употребления традиционно-книжных фразеологизмов позволяет подтвердить те общие выводы, к которым приходят современные исследователи русской фразеологии, взятой в ее становлении и развитии. Идиоматическим выражениям этого типа принадлежит заметное место в кругу фразеологических единиц современного русского литературного языка. Традиции и преемственность, удержавшие их в общеречевом употреблении, включая и послереволюционную эпоху, ясно и четко прослеживаются в индивидуальной речевой манере Ленина, выдающегося мастера социалистической публицистики. Изменившись и преобразовавшись в смысловом и стилистическом отношении, эти выражения продолжают столь же свободно и широко использоваться и в наши дни — в выступлениях советских партийных и государственных деятелей.

Одна из причин живучести таких выражений была правильно подмечена А. М. Селищевым, указавшим, что «употребление „славянизмов” связывается с особой значимостью, выразительностью, с той или иной эмоцией» (Язык революционной эпохи. М., 1928, стр. 63). Именно это стилистическое свойство характерно для многих библейских выражений, восходящих к текстам книг Ветхого и Нового завета и впоследствии пересмысленных. Оно способствовало тому, что многие традиционно-книжные фразеологизмы остаются в живом общеязыковом употреб-

лении. Они сделались неотъемлемой принадлежностью изобразительного речевого репертуара в тех национальных языках, которые сформировались под эгидой христианской культуры средневековья, и стали пригодны для выражения понятий и представлений, теперь полностью чуждых духу христианского вероучения и морали, устарелого церковного уклада жизни и мировоззрения.

Несомненно, что Ленин всегда расценивал традиционно-книжные выражения как одну из неотрывных частей общенародного фразеологического богатства, несмотря на то, что иногда мог ощущать и какую-то степень их речевой несовместимости с современным ему публицистическим контекстом. Об этом свидетельствуют, между прочим, отдельные стилистические приемы, при помощи которых Ленин вводил в языковую ткань произведений подобного рода фразеологический речевой материал. Иногда он заключает такие выражения в кавычки, например в статье «О чистке партии» фразеологизм «не взирая на лица»; в работе «Обывательщина в революционной среде» подобным же образом выделяется фразеологизм «притча во языцех».

Характерны и те вводящие фразы, которые нередко предпосылает Ленин в своих работах библейским изречениям. В статье «Народничающая буржуазия»: «Недаром говорится, верно, — „несть пророк в отечестве своем“» (т. 8, стр. 78); в «Открытом письме ко всем социал-демократам партийцам»: «Давно уже сказано: не всяк, глаголющий „господи, господи“, внидет в царствие небесное» (т. 20, стр. 36). В «Случайных заметках» Ленин пишет: «Не отбила ли бы эта обстановка охоту говорить у самого красноречивого адвоката, не напомнила ли бы она ему старинное изречение: „не мечите бисера перед...“?» (т. 4, стр. 409).

Подобным же образом текстуально выделяется афоризм в статье «К вопросу о национальной политике»; «Они [кадеты.—Н. М.]прекрасно знают изречение: „не человек для субботы, а суббота для человека“. Не народ для государства, а государство для народа» (т. 25, стр. 69).

Отметим еще некоторые стилистические черты, свойственные использованию традиционно-книжных выражений в индивидуальной авторской речи Ленина.

Во-первых, он нередко прибегает к своеобразной концентрации языкового материала. В его сочинениях можно найти такие места, где два, а то и три библеизма или сла-

вянизма читаются в непосредственной близости один к другому. Так, в одном и том же высказывании рядом стоят выражения *петь аллилуия* и *альфа и омега* (т. 1, стр. 264); в самом близком соседстве использованы фразеологизмы: *вознося горè очи, бия себя в свои морально-чуткие сердца* и *Благодарим тебя, господи, что мы не похожи на этих мытарей* (т. 10, стр. 31); *вознося очи горе и возлюбим друг друга* (т. 12, стр. 287—288) и т. п.

Во-вторых, Ленин часто связывает традиционно-книжные выражения с литературными цитатами и реминисценциями из классической русской литературы, с использованием художественных образов. В одном и том же контексте с выражением *фарисейски... бия себя в грудь* мы читаем «о политических похоронах Ивана Ивановича, о разрушении репутации Ивана Никифоровича» (т. 8, стр. 266); выражение *скорбят, вознося очи горе* непосредственно примыкает у Ленина к использованному им щедринскому образу Иудушки Головлева (т. 44, стр. 416); образы гоголевских «Старосветских помещиков» Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны объединяются на страницах книги «Что делать?» с евангельской притчей «О плевелах и пшенице» (т. 6, стр. 116). Немало библеизмов и славянизмов обнаруживается в тех статьях Ленина, заглавия которых оформлены в виде литературных цитат: «А судьи кто?» или «Услышишь суд глупца».

В-третьих, давняя закреплённость традиционно-книжных выражений за общенародным фразеологическим фондом проявляется в языке произведений Ленина и в том, что он зачастую использует фразеологизмы этого рода в неразрывной связи с народными пословицами и поговорками, выступающими как прямые синонимы к традиционно-книжным выражениям. Церковно-книжное выражение *возлюбим друг друга* стоит рядом с пословицей «Пусть будут и волки сыты и овцы целы» (т. 12, стр. 287—288); выражение *вкупе и влюбе* читается непосредственно после поговорки «Охота смертная, да участь горькая» (т. 13, стр. 350); за народно-поэтическим *чур меня, чур меня!* непосредственно следует евангельское изречение «Да минует меня чаша (сия)» (т. 10, стр. 15). Пословица «Метили в одного, попали в другого» выступает в качестве синонимической параллели к библейскому изречению *своя своих не познаша* (т. 15, стр. 180).

В-четвертых, отметим, что в ряде случаев в произведениях Ленина библейские выражения стоят рядом с ино-

язычными непереверденными речениями. Выражение *трудиться в поте лица* в работе «Максимум беззастенчивости и минимум логики» объединяется по форме и по смыслу с латинской поговоркой: «*Oleum et operam perdidisti, amice!* Друг мой, ты напрасно теряешь время и труд» (т. 8, стр. 26). В статье «Чего мы добиваемся?» выражение *политика умыванья рук* выступает как синоним к речению «политика *laissez faire, laissez passer*» (т. 9, стр. 4—5).

Наконец, следует указать и на то, что при помощи традиционно-книжных фразеологизмов в переплетении с другими изобразительными средствами языка Ленин порою добивается не только публицистической убедительности, но и высокой художественности в мастерски очерченных гротескных сатирических образах.

Подводя итоги, мы можем сказать, что традиционно-книжные выражения, слитые неразрывной связью с народными поговорками и поговорками, иноязычными изречениями, литературными цитатами и реминисценциями, органически присущи индивидуальному стилю Ленина как публициста и оратора эпохи социалистической революции.

Профессор ЛГУ имени А. А. Жданова
Н. А. МЕЩЕРСКИЙ

ЛИТЕРАТУРА

В. Г. Зиновьева. Библизмы как средство сатиры в работах В. И. Ленина.— «Вопросы языка и литературы», Ташкент, 1967.

П. Д. Филкова. Образные средства в речи В. И. Ленина.— «Русская речь», 1970, № 1.

Т. К. Молодід, С. А. Воробйова. Слов'янізми у мові В. І. Леніна та їх відтворення в українських перекладах.— «Мовознавство», 1969, № 6.

Н. С., М. Г. Ашукіны. Крылатые слова. М., 1955.

А. М. Бабкин. Русская фразеология, ее развитие и источники. М.—Л., 1970.

А. М. Селищев. Язык революционной эпохи. М., 1928.

А. Г. Цейтлин. Стиль Ленина-публициста. М., 1970.

М. В. ЛОМОНОСОВ О ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РУССКОЙ РЕЧИ



...Стараться должно, чтобы при важности и великолепии своем слово было каждому понятно и вразумительно.

М. В. Ломоносов

Более двухсот лет прошло со времени опубликования работ М. В. Ломоносова «Краткое руководство к риторике на пользу любителей сладкоречия» (1743) и «Краткое руководство к красноречию» (1748), но до сих пор многие советы, которые мы находим здесь, звучат вполне по-современному (см.: Полное собрание сочинений. Т. 7 — Труды по филологии. М.—Л., 1952). Не устарел основной тезис ученого-энциклопедиста: язык не только нейтральное средство общения людей между собой, но и мощное орудие борьбы за претворение в жизнь лучших идеалов человечества.

Нужное для людей содержание и идейная направленность — вот решающая предпосылка выразительной речи, по воззрениям Ломоносова. Рассуждения, какими бы ни были они по форме, призваны отражать жизненную правду. Никакая «витиеватость» речи не сможет скрыть пустоту ее содержания. Поэтому «больше должно наблюдать ... живое изображение идей, нежели течение слов».

Ученый решительно осуждает тех писателей и ораторов, которые в погоне за внешней красотой фразы жертвуют смыслом. Он подчеркивает ограниченность многих стилистических правил, возможность видоизменения их в конкретных условиях живой речи: «Не токмо сие требуется, чтобы замыслы были приятны, но сверх того остерегаться должно, чтобы, за ними излишне гоняючись, не завратся».

Публичное слово обычно адресуется определенной аудитории. Писатель или оратор не может не учитывать запросы, образованность, умонастроение своих читателей или слушателей. Он не пассивно приспосабливается к аудитории, а, прибегая к наиболее действенным средствам выразительной речи, стремится привлечь ее на свою сторону, в сущности на сторону определенной идеологии.

Едва ли оратор сможет хорошо сказать о том, чего сам как следует не представляет. Ему необходимо основательно знать предмет речи и науку, в которой он раскрывается: «Ритор, который ... искусен во многих науках, ... избыльнее материал имеет к своему сладкоречию... Кто желает быть совершенным ритором, тот должен обучиться всем ... наукам, а особливо гистории и ... философии».

Однако и это далеко не все. Ораторское искусство не только дар природы, но и упорный труд над совершенствованием речи. Поэтому следует прилежно читать произведения «в красноречии искусных авторов», вырабатывать у себя навыки «в сложении слов» [речей] разного рода, выбирать из книг удачные выражения и уметь при случае разумно использовать их. «Больше упражнений, нежели ... предписанных правил», — советует Ломоносов. Помогает делу общение с людьми, которые «говорят чисто, красоту языка знают и наблюдают».

Немаловажную роль играет личность оратора. Большой успех будет иметь выступление человека, пользующегося уважением слушателей. Располагает к нему его искренность, личное обаяние. Кому не ясно, что «добросердечный и совестный человек» будет иметь у слушателей больший успех, чем «легкомысленный ласкатель и лукавец»? При устном выступлении известные значения могут иметь порою внешние данные говорящего: «телесные дарования, громкий и приятный голос».

То, о чем мы говорили до сих пор, отнюдь не снимает, по Ломоносову, огромного значения форм самой речи, мастерства слова, ибо важно не только то, что мы говорим,

но и как мы говорим. Учение о выразительном слове Ломоносов рассматривает как особый раздел филологии, как «науку о всякой предложенной материи красно говорить и писать и тем преклонять других к своему об одной мнению». Действенность речи, таким образом, может быть усилена с помощью умелого применения правил выразительной речи.

Правила эти вытекают из внутренних законов данного языка и не могут быть привнесены извне. Поэтому Ломоносов предостерегает от слепого подражания иноязычным образцам: таким путем нельзя выработать хороший слог. «Довольство российского слова и собственным своим достатком велико». Это «слово» нужно тщательно оберегать от «диких и странных слов нелепостей, входящих к нам из чужих языков».

Форма речи обусловлена ее содержанием. Говоря о серьезных вещах, мы ищем и соответствующее им, так сказать, «солидное» речевое оформление, стараемся «употреблять слова избранные и убегать весьма подлых [просторечных], ибо оне отнимают много важности и силы», нарушают «равность слога».

Чистота и правильность речи зависит не только от глубокого знания словарного состава языка, но и от не менее основательного знания его грамматического строя. Самое неблагоприятное впечатление производит речь, избилующая разного рода грамматическими погрешностями, ибо «тупа оратория, косноязычна поэзия, неосновательна философия, неприятна история ... без грамматикки». В трудах Ломоносова можно найти много полезных сведений по стилистике именно грамматических категорий. О союзах ученый пишет: «Как те махины [машины], в которых меньше клею и гвоздей видно, весьма лучший вид имеют, нежели те, в которых споев и склеек много, так и слово [речь] важнее и великолепнее бывает, чем в нем союзов меньше. Однако не должно в нем оставлять таких щелей, по которым бы оно могло вовсе развалиться».



Одно из важнейших качеств хорошей речи — логичность, отсутствие в ней внутренних противоречий, что в свою очередь способствует ее убедительности. Характеристике этой стороны речи Ломоносов посвящает отдельные большие разделы. Логичная речь дает подлинную карти-

ну действительности. Дело не в механическом наизывании фраз, относящихся к теме, а в их стройном расположении и органической связи, при которой последующее с необходимостью вытекает из предыдущего, «ибо что пользы есть в великом множестве разных идей, ежели они не расположены надлежащим образом?».

Разбивая речь на вступительную часть (постановка вопроса), истолкование (объяснение темы), утверждение (обоснование выдвинутых положений, опровержение возможных возражений) и заключение, Ломоносов немалое значение придает первым произнесенным оратором словам, которыми он «приготовляет слушателей к ... слову». Вот почему начало речи должно быть «украшено тронами [словами в переносном значении] и сильными фигурами [необычными оборотами речи], ... чтобы слушатели или читатели, оными усладившись, самой материи внимали и прилежно слушали. При сем должно остерегаться, чтобы вступление было не весьма долго ... оно чем короче, тем лучше».

Но и при дальнейшем изложении оратор для успешного достижения цели стремится воздействовать не только на ум, но и на сердце слушателя. «Самые лучшие доказательства иногда столь силы не имеют, чтобы упрямого преклонить на свою сторону ... Что пособит ритору, хотя он свое мнение и основательно докажет, ежели не употребит способов к возбуждению страстей [чувств] на свою сторону?». Эмоционально окрашенные слова, тонкая ирония порою бывают более эффективны, чем обычные силлогизмы. Большое значение в этом случае имеют примеры, которыми подкрепляется сказанное. «Больше всех служат к ... возбуждению страстей живо представленные описания ... Глубокомысленные рассуждения и доказательства не так чувствительны, и для того с высокого престола разум к чувствам свести должно и с ними соединить». Однако опытный оратор не злоупотребляет тронами и фигурами, чтобы «речь его не была безмерно закручена».

Полнота мысли при наименьшем количестве слов, взятых для ее выражения, — одно из важнейших требований Ломоносова. «Никакого погрешения больше нет, как ... пустым шумом, а не делом наполненное многословие». Условие выразительной речи — доходчивость. Вот почему хороший оратор избегает невразумительных слов.

Порою, чтобы усилить впечатление, употребляют синонимы. Они «присовокуплены бывают один к другому ради

сильнейшего и яснейшего представления» о чем-либо: «хорош — изряден, низвергли — истребили» и под. В стилистических целях может быть использована и синтаксическая синонимика, когда, например, более четко подчеркивающий действие активный оборот речи заменяется указывающим на несколько ослабленное действие пассивным оборотом, и наоборот: «Ветер траву колеблет — трава от ветра колеблется».

Эффективным приемом может стать сочетание обычно не соединимых, контрастных понятий: «Лукавый языком любит, а сердцем убивает». Есть особенно удачные (в определенном, конечно, контексте) способы объединения антонимических понятий: «печальная отрада, сладкий яд, убогая роскошь, богатство нищего» и пр.

Автор первых пособий по стилистике дает необходимые сведения и об употреблении омонимов (разных по значению, но одинаковых по звучанию слов): «Должно блюстись, чтобы двузначенательных речений [слов] не положить в сомнительном разумении, например: он **Виргилия** почитает» (читит или будет читать?).



Особенно много внимания уделяет Ломоносов изобразительным средствам языка, служащим «к украшению речи», в частности употреблению слов в переносном значении: «Угрюмое море, лицо Земли, луга смеются» (вместо «цветут») и др. О порывистом, беспокойном ветре иногда лучше сказать, приписав ему свойства живого существа: «бунтует», а не «веет» или «тянет». «Риторические слова те называются, которые саму предложенную вещь точно и подлинно не значат, но перенесены от других вещей, которые со знаменуемою [обозначаемою] некоторое сходство ... имеют, однако притом бóльшую силу кодают в знаменовании, нежели сами свойственные [обычно употребляющиеся в подобных случаях] слова». Неумеренное употребление метафор не служит «к приятному идей представлению», а «дает больше ... темности, нежели ясности».

«Особливо же украшаются» описания и повествования краткими уподоблениями и сравнениями. Последние могут быть развернутыми: «Как подсыхает ветвь, подъеденная от червя, так печалью сокрушенное сердце ослабевает». Чтобы показать нереальность чего-либо, можно сопо-

ставить это с тем, чего никогда не бывает: «Прежде агнцы волков ловить, а зайцы львов терзать станут, нежели твое желание сбудется».

Украшает речь «парафразис» [парафраза] — замена простого (однословного) обозначения некоторого предмета описательным выражением: разоритель Карфагена (вместо: Сципиона), Троянских стен верхи уже во рвах лежат (вместо прозаического выражения: Троя разорена).

Афоризмы, меткие изречения, крылатые слова и выражения усиливают выразительность речи. Однако Ломоносов считает необходимым предупредить, что такие «острые мысли» должны быть уместными. Не надо подражать авторам, которые, «силясь писать всегда витиевато и не пропустить ни единой строки без острой мысли, нередко завираются».

Слова или обороты речи могут повторяться для усиления впечатления. Это Ломоносов называет «многократным положением речения [слова] в предложении»: «жив ты, но жив не для отложения, но для укрепления твоея дерзости»; «Премудрый человек ... может плакать и смеяться; смеяться, как Демокрит; плакать, как Гераклит». Этот прием ни в коем случае не надо смешивать с ненужной, засоряющей речь тавтологией (неоправданными повторениями одного и того же слова, оборота речи или мысли).

«Для сильнейшего изображения известных вещей» служат так называемые риторические вопросы: «Кто рассеянные народы во общества собрал? — наука; кто построил грады и открыл страны, отделенные морями? — наука».

«Отвращение» — особый вид эмоционально окрашенного обращения к кому-либо или чему-либо. При помощи такого обращения даже без сопровождающих его слов можно «грозить, запрещать, насмехаться, утешать, сожалеть, хвалить» и пр. Мы теперь назвали бы это вокативным предложением: «Вас, вас призываю, прехрабрые мужи, много крови за республику пролившие!». Эти «великоленные, сильные, оживляющие речь фигуры» могут стать и одним из приемов олицетворения: «о чистый ток Невы разливной... Стремись, шуми, теки обильно».

Интересен прием «удержания», своеобразного заинтриговывания, «когда ритор слушателей или читателей... в сомнении удерживает, представляя что-либо меньшее или противное [противоположное] предлагаемой вещи, а потом уже оную предлагает... Платона принял в Сиракузы

Дионисий-тиран, но с каким великолепием?.. Вы чааете, что ему были дорѳги цветами усыпаны или улицы зелеными ветвями украшены? вы надеетесь, что ему все знатные особы навстречу вышли? Никак, но Платона, сидящего в золотой колеснице, сам Дионисий, коней управляя, во град вводит».

Некоторое сходство с этим имеют «оставления» и «прохождения» [умолчания]. Они иногда дают возможность ярче показать то, о чем не говорится прямо, но на что, однако, автор довольно прозрачно намекает: «... Беззаконные его дела упомянуть ужасаюсь и мерзкими его поступками не хочу осквернить ушей ваших». Сами же «беззаконные дела» и «мерзкие поступки» не называются.

Охарактеризовав приемы выразительной речи, Ломоносов предупреждает: «Смешение и соединение фигур, равно как и тропов, должны иметь свою меру, ... частое оных употребление неприлично».

Порядок слов часто имеет стилистическое значение. Если слова обозначают отрезки времени, то расположить их надо так, чтобы сама расстановка указывала на естественную последовательность чего-либо во времени: «Прилежный человек утро и день, вечер и ночь в трудах провождает».

Ломоносов рекомендует разнообразить взаиморасположение членов предложения (конечно, не в ущерб смысловой стороне речи), чтобы, к примеру, подлежащее не всегда было перед сказуемым, а причастные и деепричастные обороты не всегда стояли после того слова, к которому они относятся. То же можно сказать о главных и придаточных предложениях.



В устной речи нельзя сбрасывать со счета правильное и четкое произношение, интонацию, паузы, темп, окраску голоса, даже мимику и жесты говорящего: «Слово [речь] произносить должно голосом чистым... не надлежит вскрикивать вдруг весьма громко... и, напротив того, неприлично произносить одним тоном, без всякого повышения или понижения... Радостную материю веселым.., сердитую произносить гневным тоном. И словом, голос свой управлять должен ритор по состоянию и свойствам предлагаемой материи».

Неприятно действует на слух ничем не оправданное соседство нескольких одинаковых гласных или согласных звуков: «Плакать жалостно о отшествии искреннего своего друга»; «тот путь тогда топтать трудно». Правда, иногда это может быть оправдано стремлением к звукоподражанию. Путем скопления звуков *к, п, т* и *б, г, д* можно условно воспроизвести шум строящихся городов, конский топот, крик некоторых животных и проч.

Необоснованное повторение одного и того же слова или даже слога на близком расстоянии ведет к шероховатостям речи («слово ваше важно»), нежелательно скопление только коротких или только длинных предложений. Правильный ритм речи достигается соответствующим чередованием ударных и безударных слогов.

Таковы основные положения учения Ломоносова о выразительной речи. Надо, конечно, иметь в виду, что это учение создано в XVIII веке. Многие в нем относятся к языку и стилю того далекого от нас времени. Устарели отдельные термины, обороты речи, какими пользовался великий филолог. Непривычно звучат для нас некоторые старославянские слова и выражения, считавшиеся тогда неотъемлемой принадлежностью так называемого «высокого стиля». Однако многие советы Ломоносова до сих пор не утратили своей силы.

С. М. ПОТАПОВ,

доцент Белгородского педагогического института

ОПРАВДААННАЯ ТАВТОЛОГИЯ

На тавтологию (греческое *tauto* 'то же самое' + *logos* 'слово') обычно смотрят как на ненужное повторение одного и того же определения, суждения одинаковыми или близкими по смыслу словами (масло масляное). Такое повторение обедняет и засоряет нашу речь. Однако не всегда тавтология бывает вредной, ненужной. В русском языке можно наблюдать и тавтологию, стилистически оправданную. Тавтологические сочетания могут быть построе-

ны на повторении одного и того же слова в разных формах (знать не знаю, плечом к плечу, честь честью); на соединении однокоренных слов (стоном стонать, пруд пруди, всякая всячина) и слов, близких по значению (путь-дорога; не знаю, не ведаю). Подобные сочетания встречаются с древнейших времен в таких литературных произведениях, как «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве», в языке памятников деловой письменности (суд судить; ряды рядить; рядом подряжать), в эпистолярном жанре (смея и не смея писать).

Но основная область применения тавтологических сочетаний — произведения устного народного творчества, где жанрово и территориально они не ограничены. Приведем несколько примеров из русских народных сказок, записанных у А. Н. Корольковой в 1955—1957 годах в Воронежской области: «Илья Муромец тридцать три года не ходил ногами, сиднем сидел» (Илья Муромец); «Его мать, бывало, выкупает, в колыбель положит, а он лежит хрусталь-хрусталем» (Еруслан Лазаревич); «Я видеть не видела, а слышать слышала» (там же); «Там было людей многое множество» (Добрыня Никитич) и др.

А вот примеры из произведений устного народного творчества, записанных Н. И. Иванецким в XIX веке в Вологодской губернии:

Полно, сердце, во мне *ныги-изнывать*,
Моему сердцу покою не видать.

Думка-думушка разум спобивает,
Мил навеки оставляет...
Взяла девушку *грусть-тоска*.

«Уж ты *спишь, не спишь*, Параша,
Или так лежишь?»
«Уж я *сплю, не сплю*, Ванюша,
Боле так лежу.
На *уме* держу Ванюшу,
На всем *разуме*».

Тавтологические сочетания обнаруживаются в традиционных концовках русских сказок (живут-поживают, нужды-горя не знают), а также в сказочных рефренах, повторах (скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается). Как видим, в приведенных примерах тавтология употребляется сознательно.

Для чего же нужно такое сознательное повторение уже названного?

Прежде всего, чтобы подчеркнуть какой-либо признак, усилить впечатление от предмета, задержать на нем внимание: упросом прошу — прошу, ливмя льет — льет, знать не знаю — не знаю и т. п.

Глагольные сочетания (слышать слышала; знать не знаю; не знаю не ведаю) используются для усиления значения, заключенного в глаголах, для передачи интенсивности действия, а при наличии отрицания — для абсолютного отрицания возможности действия. Подобные тавтологические сочетания синонимичны усилительным оборотам: как ни..., где ни..., куда ни... «Теперь кричи не кричи, зови не зови — никто не услышит» (Солоухин. Буханка заварного хлеба); ср.: Как теперь ни кричи, как ни зови — никто не услышит.

Глагольно-именные сочетания наиболее употребительны для выражения усиленного признака. Чаще всего среди них встречаются сочетания глагола с существительным в творительном падеже. Падеж этот так и называется творительным тавтологическим, или усилительным (стонем стонать, упросом просить, ходуном ходить, криком кричать). Как правило, существительное находится в таких сочетаниях перед глаголом. Сюда же можно отнести сочетания глагола с наречными образованиями на -мя (ревмя реветь, ливмя лить, стоймя стоять и т. п.). Некоторые существительные и наречия не употребляются самостоятельно, а встречаются только в составе тавтологических сочетаний. Это способствует фразеологизации тавтологических сочетаний.

Значительно реже для выражения усиления используется сочетание глагола с существительным в винительном падеже (думу думать, шутки шутить, горе горевать).

Глагольно-именные тавтологические сочетания не столько называют действие, сколько характеризуют состояние интенсивности, дают его качественную оценку: ходить — ходуном ходить; стонать — стонем стонать.

Среди именных тавтологических сочетаний, выражающих значение усиления, встречаются такие: существительное с так называемым тавтологическим эпитетом (разные разности, горе горькое, всякая всячина); существительные в именительном и творительном падежах (дурак дураком, осел ослом); сочетание разных форм прилагательного (рад радешенек, один одинешенек; белым-бело, черным-черно; глупее глупого, умнее умного). По значению такие тавтологические сочетания могут

быть соотнесены с прилагательными в превосходной степени.

Иногда тавтологические сочетания могут использоваться для выражения неуверенности, нерешительности, сомнения, неполноты признака или действия: смея и не смея, спишь — не спишь.

Итак, мы показали употребление некоторых тавтологических сочетаний, установили, что они делают речь выразительной. Именно поэтому такие сочетания используются и в художественной литературе.

В произведениях писателей XIX века употребление тавтологических сочетаний свидетельствует о сближении литературного языка с живой народно-разговорной речью, происходит процесс демократизации литературного языка. Писатели используют тавтологию как одно из средств стилизации, сближая язык литературы с народной речью и устным народным творчеством. Такова роль тавтологических оборотов в сказках Пушкина, в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», в пьесах А. Н. Островского, в песнях Кольцова и др.

В современной художественной литературе тавтологические сочетания употребляются как в авторской речи, так и в речи персонажей. В авторской речи они усиливают образную сторону языка, это экспрессивное средство детализации и конкретизации при описании состояний, явлений и т. п. В речи персонажей тавтология является еще средством речевой характеристики литературных героев:

«Вот то-то и оно. Все молчат, а тут не молчать надо, а *криком кричать*. Бить в набат надо!»

«Вернулся он домой *гуча-гучей*.»

О Петре он и *слыхом не слыживал* — все это враки людские» (Алексеев. Хлеб — имя существительное);

И быть придется *зрячей зрячего*,
Чтоб узглядеть, не пропустить
Тропу, где первый раз сворачивать.

О. Фокина

Порой художники слова сами создают тавтологические сочетания по образцу уже существующих.

Очень хорошо их своеобразие и эмоциональную насыщенность ощущал В. В. Маяковский. Используя основное свойство тавтологических сочетаний, он старается обновить их и тем самым сделать еще более выразительными. Один из приемов обновления тавтологизма у В. В. Ма-

яковского — создание специально для тавтологического сочетания глагола-неологизма:

Молодцом на коня боевого влязь,
по земле пехотинься пеший.
С неба землю всю
 глазами оглазь,
на железного коршуна
 севши.

Сказка о дезертире

Подобные сочетания поэт использует не раз: Нилом нилься; пещеры пещерите и т. п.

Нами рассмотрены в общих чертах лишь некоторые случаи употребления стилистически оправданной тавтологии с целью обратить внимание читателей на неисчерпаемые богатства выразительных средств русского языка.

Кандидат филологических наук
Н. Г. САМОЙЛОВА

ПЛЕНИТЬ — ВЗЯТЬ В ПЛЕН

Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила
И меж пленен оставила свирель,
Которую сама заворожила.

Пушкин

Глагол *пленить* и соотносительный с ним глагол *пленять* в русском литературном языке употребляется преимущественно в значении 'привлекая к себе, целиком овладеть кем-чем-нибудь; подчинить чувства, мысли и т. п. своей власти, своему влиянию' (Словарь современного русского литературного языка в 17-ти томах). Это значение переносное, вторичное по отношению к прямому 'взять в плен, лишит свободы': «Там королевич мимоходом пленяет грозного царя» (Пушкин):

В трагическом смятеньи
Плененные цари,
Забыв войну, сраженьи,
Играют в кубари...

Пушкин

В 17-томном Словаре первоначальное значение *пленить* признается для современного языка устаревшим и имеет специальную помету «устарелое». Для современного языкового сознания это кажется настолько очевидным, что К. И. Чуковский счел употребление глагола *пленить* в прямом значении 'взять в плен' особенностью детского словоупотребления, как бы восстанавливающего первоначальное, ныне утраченное значение слова. Он так и пишет: «Ребенок возвращает словам их забытый смысл. Помню возглас одного четырехлетнего воина: Я пленил Гаврюшку, а он убежал! Пленил [разрядка К. Чуковского], т. е. взял в плен. Это архаическое слово,— продолжает К. Чуковский,— почти совсем забыто в нашей речи, и если мы употребляем его, то чаще всего в переносном смысле („она пленила меня красотой”), а ребенок вернул ему его прямое значение, оглаголив существительное „плен”» (К. Чуковский. Ст двух до пяти).

Таким образом, кажется очевидным, что глагол *пленить* в прямом значении выходит из употребления, заменявшись описательным словосочетанием *взять в плен*: «Нами в плен был взят штаб врага» («Правда», 17 марта 1970).

Однако наряду со словосочетанием *взять в плен* в языке современной публицистики снова появляется глагол *пленить* в прямом и будто бы уже устаревшем значении: «Экипаж уничтоженного Ю-88 спустился на парашютах и был пленен» (А. Новиков. В небе Ленинграда.— «Новый мир», 1970, № 2); «Плененный фельдмаршал был доставлен в штаб» (Радиопередача 31 января 1970).

Приведенные примеры показывают, что глагол *пленить* в прямом значении опять становится живым и употребительным в публицистических жанрах при описании военных действий. Это восстановление как будто угаснувшего слова объясняется, очевидно, общей продуктивностью словообразовательной модели с суффиксом *-и-* в значении 'подвергать действию того, что означает производящее существительное', например *ссорить*, *ранить*, а также в соотношении с конкретными существительными: *мылить*, *ваксить*, *солить*, *утюжить*, *охрить*, *вощить* и т. д. Прозрачность словообразовательного соотношения *пленить* — *плен*, продуктивность образования стыменных глаголов с суффиксом *-и(ть)* послужили причиной восстановления архаического глагола *пленить* в его первоначальном значении.

Н. С. АВИЛОВА

ЧТО ПИШУТ О ЯЗЫКЕ



О светофоре

Недавно в одном из крупных городов страны состоялось обсуждение работы нашего журнала. На нем выступил горячий сторонник культуры речи с призывом создать при журнале или при Академии наук специальную службу языка по образцу службы регулирования уличного движения. Но мы позволили себе не согласиться с таким проектом, хотя настоящая служба русского языка действительно нужна.

Коллектив лингвистов подготовил и представил на обсуждение словарь, книгу, посвященную трудностям словоупотребления. В одном из отзывов, полученных составителями, на том основании, что книга будет справочником по культуре речи, предлагалось оставить в ней только две пометы к словам и выражениям: «можно» и «нельзя». А все указания на возможности употребления каких-то слов только в определенных ситуациях, с определенной целью, то есть все то, что находится между категоричным разрешением и запретом, автор отзыва советовал из книги убрать. Составители справочника не согласились с этим.

Очевидно, что единственным орудием воспитания высокой речевой культуры, как и всякого другого воспитания, не может быть двух- или даже трехцветный светофор, хотя любой воспитатель знает, что без категорического «нельзя» ему, пожалуй, не обойтись (в определенных ситуациях!). Работа над языком — сложное дело: это особые упражнения, развитие привычки следить за правильностью своей и чужой речи, чтение... Но важнее всего то, что она сама составляет часть общего умственного, нравственного и гражданского воспитания человека. Ведь язык — это форма существования мысли, важнейшее средство для выражения чувств.

Обращаясь к молодым собратьям по перу, писатель М. Алексеев говорит:

Слово — штука весьма серьезная. Слово способно вызвать улыбку у самого мрачного по натуре человека и повергнуть в крайнее уныние непобедимого, казалось бы, весельчака. Слово может возвысить, очистить душу человека и уронить ее в бездну, то есть унижить, осквернить. Из слов составляются гимны, поднимающие целые народы, целые нации на борьбу, из слов же составляются пасквили, возводящие хулу на самые дорогие и святые для нас истины. Сила слова безгранична. Призванное объединять людей и действительно часто объединяющее их в малые, большие ли семьи, оно, слово, может создать и отчуждение между людьми, то есть создать между ними пропасть, друзей сделать врагами... («Литературная Россия», 15 января 1971).

В общественной деятельности, направленной на повышение культуры речи народа, первостепенное значение приобретает определение таких основных понятий, как литературный язык, нормы литературного языка, направление языкового развития и воспитание языковых вкусов общества. От этих определений в значительной степени зависит и характер конкретных культурно-речевых рекомендаций, и плодотворность всей работы в этой важной области.

О вкусах

Совместимо ли понятие языкового вкуса с выявлением языковых закономерностей? Легче всего это проверить на словах иноязычных. Критик Ст. Лесневский в газете «Литературная Россия» (25 декабря 1970) пишет:

В одной молодежной газете как-то была заметка об инженере, который многие годы отдал собиранию материалов, посвященных жизни и творчеству Александра Блока. Над заглавием — «Все о Блоке» — редакция поставила разъяснение: «Хобби — это серьезно».

Быть может, по-английски это и серьезно, а по-русски слово «хобби» прозвучало в данном случае едва ли не развязно. Любовь, привязанность к замечательному поэту... И вдруг — «хобби»! Этакий современный жаргон... Не точнее ли — «влечение», «увлечение»?

Автор прямо обращается к читательскому чувству слова. Последуем и мы его примеру и приведем два выражения из заметки о международных летних курсах русского языка, подписанной Н. Назаровым (АПН) и опубликованной в «Московском комсомольце» (16 сентября 1970):

Группы, как правило, дифференцированы: разговорная практика — для более слабых...

У Московского автомобильно-дорожного института, где вот уже пять лет функционируют летние курсы русского языка...

Иностранцы, по словам автора заметки, утверждают: «Но все-таки лучше научиться „настоящему“ русскому в Москве».

В газете «Социалистическая индустрия» (18 сентября 1970) помещены заметки писателя А. Югова о языке русских горняков и металлургов. Автор пишет о М. В. Ломоносове:

...не занося руки своей на слова международного научного обихода, взятые от латинских или греческих корней, он в то же время обогатил русскую науку и промышленность целым рядом своих, русских слов-терминов: квасцы, щелочь, основание, негашеная известь, удельный вес, воздушный насос, равновесие тел, преломление лучей, кислота, частица (т. е. молекула), наблюдение, явление...

А. Югов приводит обширные выписки из трудов М. В. Ломоносова; из работ великого русского металлурга П. П. Аносова, постигшего «тайну булата»; из курса лекций «отца металлографии» Д. К. Чернова. Они, как и «начальник доменных печей» М. К. Курако, как академик И. П. Бардин и другие славные наши ученые и производственники, учились производственному языку у рабочих:

...с чувством благодарного изумления видишь, что выплавка сильного и точного русского слова была неотрывна у них от выплавки стали. И в том, и в другом они прежде всего были сынами парода и патриотами!

Современный читатель без труда убеждается в том, что речь этих ученых не только понятна, но «прозрачна и живописна», «как бы сложен и многотруден ни был предмет». Вывод автора:

Могущественнейший и тончайший в любых применениях русский язык равновеликим образом способен служить всем задачам и нуждам нашей великой социалистической индустрии и науки.

Вкусовые, историко-стилистические наблюдения и выводы об отношении к словам исконным и заимствованным из других языков подтверждаются и данными ученых-словарников. Отвечая на вопрос о том, почему русский язык «не любит» слов, начинающихся со звука и буквы «а», член-корреспондент АН СССР Ф. П. Филин говорит:

Давайте раскроем первый том словаря («Словарь современного русского литературного языка» в 17-ти томах) и посмотрим, действительно ли это так. Почти на двухстах страницах под буквой «а» приведено и объяснено 2097 слов, начиная от «абажура» французского происхождения и кончая гомеровскими героями «Аяксами». Из русских по своему корню слов попадают только междометия «а, ах!», союз «а».

Не является ли это каким-то недостатком нашего языка? Конечно же, нет. Известно, что русский язык развивался из языка, который мы условно называем праславянским, осваивал ценности других, с которыми соприкасался, обогащался из поколения в поколение. От праславянского языка и пошли исконно русские слова, такие, как «вода», «земля» и многие другие.

А русских слов, начинающихся с «а», у нас мало не потому, что мы их не умели выдумать, а потому, что здесь действует своеобразный закон. Наш язык, как и его предок — праславянский, просто-напросто «не любит» начинать свои слова с «чистого» «а». Подобный закон, кстати говоря, распространяется и на букву «ф». Звук «ф» в праславянском языке вообще не существовало, он пришел к нам из греческого.

И еще одна интересная особенность. Подавляющее большинство слов на «а» относится к существительным, глаголам и прилагательным среди них очень мало. Как это понять? Очень просто. Почти все эти слова — слова-пришельцы. Разборчиво пополняя свой словарный запас, русский язык брал себе только те слова, которыми называли предметы, у нас не встречающиеся, например, «абажур», «абитуриент», «апельсин». И в этом одна из замечательнейших способностей языка («Юность», Ярославль, 18 июня 1970).

Способность языка отбирать для себя действительно необходимое не препятствует выразительности речи, основанной на использовании богатейших его внутренних возможностей.

✿ *О помехах*

Делаются попытки обосновать необходимость нормы в литературном языке с помощью чисто бытовой психологии. Так, кандидат филологических наук Л. Крысин в журнале «Дошкольное воспитание» (1970, № 8) пишет:

Для чего необходимы единые языковые нормы? Прежде всего, для полного взаимопонимания людей, говорящих на данном языке. Если речь строится по одним и тем же правилам, то внимание собеседников сосредоточивается только на содержании разговора. Но если в речевой манере одного из них есть особенности в построении высказываний, то внимание второго неизбежно отвлекается на эти особенности.

В общении с людьми, строящими свою речь по необычным для нас законам, требуются некоторые усилия на преодоление этих внешних, «заглушающих» содержание речи помех.

Психологические обоснования этой теории «речевых помех» довольно шатки: язык в ней оторван от мышления. Если оставить в стороне просто дефекты речи (болезнь), то в действительности не может быть речевых особенностей, не передающих какого-либо содержания. Все дело в том, чтобы эти особенности характеризовали говорящего с положительной стороны, чтобы они передавали положительное содержание. Если человек в каждую

свою фразу вставляет «значит» — словечко без смысла, оно — помеха. Если человек уснащает свою речь пословицами, поговорками, выразительными речениями, такую индивидуальную особенность обычно к помехам мы не относим.

Даже с такой речевой особенностью, как диалектное произношение, не все просто. Известно, что М. Горький окал, ведь он был волжанином. Народный писатель, образованнейший человек, он сохранил эту родную для него особенность — волжский говорок — с детства на всю жизнь.

«Слову красному — поклон» — под таким заголовком опубликована в газете «Советская культура» (21 ноября 1970) статья доцента Иркутского госуниверситета А. Селявской. Это призыв ко всем работникам культуры собирать образцы народного красноречия:

В нем жар первичной образности, обаяние новорожденной мысли, свежесть и убедительность акцентов, подкупающая самобытность, завидная свобода от штампов.

Речь идет именно об искусстве говорить по-особому и, кстати, на диалекте. Трудно не согласиться с выводами автора:

Потребности нашего языкового, философского, ораторского, художественного развития требуют мобилизации всех резервов. Один из них — народное красноречие, к которому не должны относиться свысока «сильно искусившиеся на грамоте», как иронически говорил Чехов о тех, кто нес в искусство бескровность, безъязыкость, безнародность.

Композитор В. Соловьев-Седой пишет в той же газете (19 января 1971):

Всеобщее беспокойство о судьбах русской народной песни вызвано, помимо всего прочего, и тем обстоятельством, что современные средства информации и в первую очередь кино, радио и телевидение нивелируют, сглаживают, обезличивают местные диалекты, присказки, пословицы, песни. Все реже и реже встречаются люди (это чаще всего старики), сохранившие в разговорной речи, в музыке тот колорит, особенность, яркость и сочность, которые свойственны отдельным районам нашей страны. Все большее место стала занимать некая универсальная, унифицированная не только лексика, но и музыка.

Все выражается в языке. Если применить это к отдельному человеку, то именно по его манере говорить и писать, по слогу устной и письменной его речи, мы часто судим об уме и образованности, о нравственном облике. «Слог, — писал В. Г. Белинский, — это рельефность, ося-

заемость мысли; в слоге весь человек; слог всегда оригинален как личность, как характер. Поэтому у всякого великого писателя свой слог».

✿ О нормах

Теория «речевых помех», как мы видели, тесно связана с прямолинейным пониманием «единых норм» как совокупности вполне устоявшихся закономерностей. В крайнем случае допускается сосуществование или смена норм. Но все равно сама эта норма предстает перед рядовыми носителями языка в виде упомянутого нами светофора, порою замаскированного мудреным словечком «кодификация». Такая кодификация способна, пожалуй, если и не умертвить живой язык, то во всяком случае отратить людей, говорящих на языке, от всякого рода культурно-речевых рекомендаций.

Между тем современные понятия нормы литературного языка основаны на богатейших его выразительных возможностях. Норма развитого литературного языка обязательно предполагает не только правило, но и целесообразное исключение из него.

Мало того, каждое отдельное правило языка обычно указывает на языковую потенцию, а вовсе не перечисляет все случаи его применения. Иначе как бы возникало новое в языке? В один день стало достоянием всех слово *луноход*, хотя до него названия аппаратов, сложных слов со второй частью *-ход*, образовывались не совсем так, как образован этот новичок (см. статью Л. И. Скворцова в этом номере).

Правила языка дают возможности для творчества, а применение этих правил — обязательно творчество. При уяснении правил, равно как и норм, не следует забывать мысль основоположника современного русского литературного языка А. С. Пушкина: «Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности».

✿ О границах

Понятие о языковых правилах и нормах как источнике творчества — индивидуального и общественного — имеет глубокие обоснования в теории развития литера-

турного языка. Автор статьи в «Дошкольном воспитании» предлагает такое определение:

Хорошо известно, что литературная речь — это речь нормированная. Весь строй речи: употребление слов, их произношение, соединение их друг с другом — подчиняется единым нормам. Нормы не навязываются языку извне, не придумываются учеными-лингвистами — они исторически складываются в литературном языке путем длительной шлифовки и дифференциации его выразительных средств.

А теперь возьмем другое: литературный язык — язык народный, обработанный мастерами. Нормы произношения, словоупотребления и грамматики его складываются в речи образованной части общества в соответствии со строем народного языка и с использованием национальной книжно-письменной традиции.

В первом определении все внимание обращено на незыблемость границ литературного языка и его «саморазвитие» в этих границах, во втором прямо указываются источники движения. Понятие о литературном языке — вопрос мировоззрения. Каково общее направление его развития? А на практике: у кого учиться языку и какому языку учить?

Страх перед «грубостью» народной речи и связанное с этим стремление к рафинированию языка, к введению в обиход полуиноязычных жаргонов — таковы неизменные идеалы далекой от народа элиты. Это идеология и языковая практика дворянского салона во времена Крылова, Грибоедова и Пушкина, буржуазно-интеллигентского салона во времена Толстого, Чехова и Горького. С пережитками элитарного понимания литературного языка как замкнутого в самом себе и пополняемого лишь за счет заимствований интеллигентского жаргона нам приходится иметь дело и теперь.

Последовательный демократизм классической русской литературы, воспринявшей призыв Пушкина «учиться языку у московских просвирен», дал подлинно народное направление развитию нашего национального литературного языка. Следует поэтому решительно отвести такое утверждение автора статьи в «Дошкольном воспитании»: «...после Октябрьской революции состав носителей литературного языка сильно изменился. Массы рабочих и крестьян, ранее не владевших литературными нормами, теперь приобщались к языку интеллигенции». Язык Пушкина и Горького никогда не был «языком интеллигенции».

Когда трудящиеся нашей страны после победы Великой Октябрьской социалистической революции смогли приобщиться сначала просто к грамоте, а потом и к познанию всего культурного наследия, они взяли из него только свое, родное — культуру подлинно народную по форме и по содержанию. На практике реализовано было ленинское положение о двух культурах в каждой национальной культуре. О нем не следует забывать и теперь.

✿ *О профанах и ...светофоре*

В статье «Споры и нормы», опубликованной в «Литературной газете» (13 января 1971), Л. Крысин указал на некоторые «источники» движения:

В спорах о языке проявляется не только различие во вкусах, в языковом опыте говорящих, но и несходство социальных позиций. Хотя мы и живем в одном обществе, говорим на одном языке (в данном случае речь идет о русском языке), социальные и биосоциальные — например, возрастные — различия людей отражаются и в их речи, и в отношении к новым словам и формам.

Играя словами «социальное» и «биосоциальное», автор старается незаметно подменить одно другим. Так, в споре двух друзей-языковедов о словах, приведенном в статье, на вопрос о том, «почему юнцы тянутся ко всему яркому, необычному — и в одежде, и в манерах, и в языке», ответ следует весьма недвусмысленный:

— Надоели им скушища школьных учебников, унылая зубрежка, гладкий язык учительских объяснений, газетных статей, радиокередач. Вот и рвутся «на волю», к своему языку, который взрослым и недоступен и противен, к выразительности всех этих «потрясно», «чувих» и «кадров».

Из спора двух друзей становится ясно, что можно не обращать внимания на доводы того, кто не хочет на такую «волю», кто горячится:

— Это слова грязные, захватанные руками воров, бандитов: это ж все ползет из жаргона уголовников. Ты не только разговоры нынешних семнадцатилетних — ты песни их послушай: и там «фраера», «колеса»... Только людей с куриными мозгами может привлекать такая «выразительность»!

— При чем здесь уголовники?! И «железно», по-твоему, не студенты придумали?..

Неясно все же, почему далее «только субъективными, чисто эмоциональными доводами» автор статьи называет указания на происхождение слов, на социальную (не «биосоциальную!») их окраску, ощущаемую каждым,

говорящим теперь по-русски. А пушкинским «истинным вкусом» вообще можно пренебречь:

...вкусовой подход, какими бы благими намерениями он ни питался, не делает «языковой погоды». Язык — объективная данность, имеющая свои законы бытования и эволюции.

Итак, мнениям двух друзей (одного из них назовем «поощрителем», так как другого сам Л. Крысин называет «охранителем»), спорящих о словах (!) и пытающихся «навязать свои языковые вкусы не друг другу, а всем говорящим», автор противопоставил сначала язык как «объективную данность», а в конце статьи, совсем уж непонятно почему, — книгу М. В. Панова «Русская фонетика», в которой «размышления о норме в области современного литературного произношения (!) основываются на анализе внутренних тенденций развития русской фонетической системы».

В стороне стоит еще «профан» (неязыковед), ему автор статьи в «Литературной газете» приписывает весьма примитивные суждения:

Коль я владею языком, знаю его, я заинтересован в том, чтобы это устройство для обмена мыслями действовало как можно более четко и безотказно.

Для такого, пожалуй, можно на выходе «устройства» под названием «объективная данность» установить ... желанный светофор. А если еще к кнопкам светофора приставить недавнего студента, рвущегося «на волю», — все будет «железно», во всяком случае, без «заглушающих» помех.

Писатель Л. Успенский так ответил корреспонденту «Комсомольской правды» (12 июля 1970) на вопрос об отношении к речи определенной категории молодых людей, предпочитающих жаргон литературному языку:

— Меня это пристрастие не слишком пугает. Школяры всех времен, начиная со дней, когда сочинялся студенческий гимн «Гаудеамус игитур...», охотно прибегали к «тайному» и полутайным юношеским языкам. Никогда эта игра в криптологию (тайноречие) не сохранялась в них за пределами ранней юности и никогда никак не влияла на их же собственную будущую взрослую речь...

Гораздо больше заботит меня иное явление, близко, впрочем, связанное с названным. Пока жаргонные словечки остаются элементом «игры», «забавы», они безвредны. Они вырастают в великое зло, как только начинают играть роль слов-заменителей, призванных, подворачиваясь под язык говорящему, выручать его каждый раз, как перед ним встает задача найти нужное слово. Постоянно слышишь разговоры типа: «Слушай, ты... это самое... Давай мы -- это самое, а?».

Я знал парня, очень полюбившего слово «колоссально» тогда, когда оно было модным. Но у него не осталось, кроме него, никаких других прилагательных оценки. «Как живешь?» — «Колоссально». «А мать пишет?» — «Колоссально!». «А как сессия?» — «Колоссально»... Слово выражало все и ничего, позволяя человеку не думать над выражением понятий, значит, мало-помалу уничтожая самую способность мыслить понятиями...

Нет, языку, великому языку нашему от этого косноязычия беды большой не получится. А вот самим людям, заменяющим живую человеческую речь чем-то «простым, как мычание», грозит постепенная атрофия главнейшей из способностей, образующих говорение, — способности подбирать нужное слово для выражения нужной мысли. И — опосредствованно — способности мыслить точно, живо и убедительно.

В жизни, кроме «поощрителей» и «охранителей», каковых немного, и они, правда, не «делают погоды», кроме «профанов» и перезрелых школяров, существуют сознательные носители языка. Есть народ-языкотворец. Ему не безразличны ценности, созданные предками, ему не безразлична судьба родного языка. Сознательное, творческое отношение к речи, понимание того, что литературный язык служит и совершеннейшим орудием общения, и одной из важнейших форм существования национальной культуры — все это порождает глубокий интерес к вопросам языкознания во всех слоях нашего социалистического общества. В появлении истинного общественного вкуса к языку сомневаться не приходится, и перед советскими лингвистами как представителями общественной науки встают теперь ответственные и сложные задачи.

В. Я. ДЕРЯГИН

Реплика

«ЖИВОЙ КАК ЖИЗНЬ»...

ЧЬИ ЭТО СЛОВА?

Казалось бы, сомнений быть не может: эти слова принадлежат Николаю Васильевичу Гоголю. Приведем целиком это хорошо известное специалистам место из статьи о русской поэзии, написанной Гоголем в окончательном варианте в конце 1846 года:

«Наконец, сам необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая с одной стороны высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность таким образом в одной и той же речи восходить до высоты, недоступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего человека, — язык, который сам по себе уже поэт и который недаром был на время позабыт нашим лучшим обществом: нужно было, чтобы выболтали мы на чужеземных наречьях всю дрянь, какая ни пристала к нам вместе с чужеземным образованием, чтобы все те неясные звуки, неточные названья вещей, — дети мыслей невыяснившихся и сбивчивых, которые потемняют языки, — не посмели бы помрачить младенческой ясности нашего <языка> и возвратились бы мы к нему, уже готовые мыслить и жить своим умом, а не чужеземным» (Выбранные места из переписки с друзьями. XXXI. В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность).

Итак, «живой как жизнь» — гоголевский образ, крылатое слово великого русского писателя. А вот иллюстрированный еженедельник «Неделя» в одном из последних номеров 1970 года смело отдает эти слова ... К. И. Чуковскому. В большой статье, посвященной работе словарного сектора Института русского языка АН СССР в Ленинграде, читаем: «Собрание карточек (словарного сектора ИРЯ) непрерывно пополняется, ибо наш язык, как метко выразился К. И. Чуковский, „живой как жизнь“, он все время растет в своем объеме» («Неделя», 1970, № 46, статья «Заглядывая в словари»).

Конечно, книга К. И. Чуковского о русском языке «Живой как жизнь», вышедшая несколькими изданиями, известна современному широкому читателю гораздо больше, чем приведенная выше в отрывке гоголевская статья из «Выбранных мест». Однако это не лишает Гоголя «авторских прав» на крылатое выражение. Да и сам К. И. Чуковский никогда не претендовал на то авторство, которое приписала ему «Неделя»; во всех изданиях книги «Живой как жизнь» слова заглавия предваряются эпиграфом, взятым из гоголевской статьи: «В нем (в русском языке) все тоны

п оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно. *Гоголь*».

Известно, что предисловия, вступления и эпиграфы — такой жанр, который — скажем мягко — не все любят читать. Какой конфуз из этого может получиться, читатель вправе судить из нашей реплики, преследующей, конечно, цель не педантичного нравоучения, а дружеского предостережения излишне торопливым или недостаточно внимательным авторам и редакторам.

Н. Р.

От редакции. Уже после того, как заметка была подготовлена, мы прочитали в «Учительской газете» (15 декабря 1970) статью, озаглавленную «Живой, как жизнь». Заканчивалась она призывом к учителям-словесникам совершенствовать свое мастерство, поскольку они «имеют дело с предметом, по определению Корнея Ивановича Чуковского, живым, как жизнь, великим и могучим русским языком».

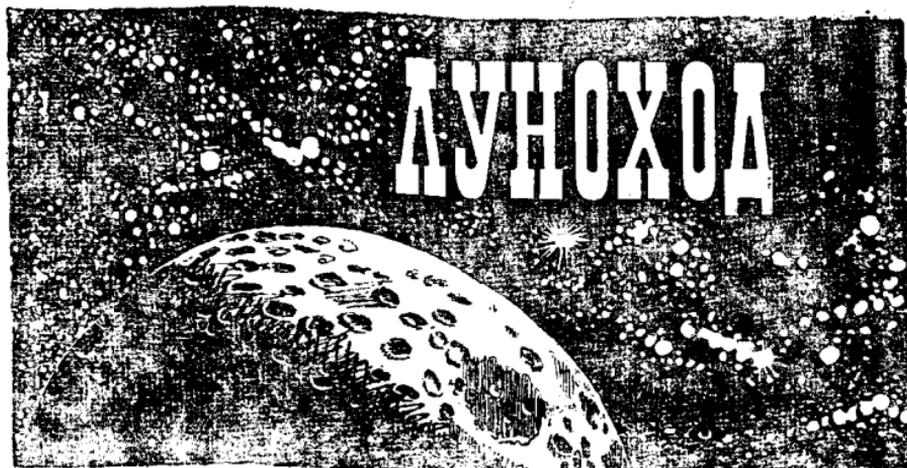
Как видим, здесь К. И. Чуковского обогатили еще и частью знаменитого стихотворения в прозе Тургенева. Чтобы избежать подобной «путаницы» в будущем, напоминаем, что в книге «Русские писатели о языке» (Л., 1955) знаменитое гоголевское выражение можно найти на странице 134, а тургеневское стихотворение в прозе — на 275-й.

Что читали древние?

Се видѣвъ друга своегѣ тѣсноуцага
к писатцемъ, да быша написали на камени
свобраз его и рече емѣ. Ты са тѣснешши,
дабы камень былъ поубенъ тебѣ, а о семъ
взскоую са не печешши, абы ты са не
оуподобилъ камени.



Увидев друга своего, торопящегося к художникам, чтобы те изваяли из камня образ его, сказал: «Ты стремишься, чтобы камень стал подобен тебе, но почему ты не заботаешься о том, чтобы самому не уподобиться камню?» (Пчела, л. 4 об.).



И единым вздохом миллионов уст родилось крылатое русское слово, которого нет у Даля — «луноход». Оно — бессмертно!

В. Орлов. Ода луноходу. — «Правда»,
18 ноября 1970.

Это довольно редкое событие в истории языка, когда рождение нового слова известно с точностью не только до года, но до месяца и дня.

17 ноября 1970 года, в 6 часов 47 минут по московскому времени автоматическая станция «Луна-17» совершила мягкую посадку в море Дождей. В 9 часов 28 минут на поверхность Луны сошел автоматический аппарат «Луноход-1». В тот же день из сообщения ТАСС об этом узнал весь мир. По сигналу с Земли луноход начал движение по лунной поверхности, прокладывая своими колесами рифленую колею, отчетливо видную на экранах земных телевизоров. Первый в мире автомат на Луне приступил к работе.

И мало кто удивился тому, что вместе с рождением нового автоматического устройства родилось и закрепилось в русском языке новое, космическое, но в то же время такое естественное и даже как будто бы знакомое слово — *луноход*. Кибернетика, автоматика, электроника ... Новизна этих наук, как и новизна самих терминов, продолжает ощущаться нами. И то, что новые науки дают миру приборы, названия которых звучат так обычно, — свидетельство их высшего развития, подлинного расцвета в наши дни.

Правда, как это и бывает в подобных случаях, в газетных статьях и заметках появились описательные, перифрастические наименования к неологизму, очень быстро ставшему привычным. Среди них были слова и выражения разной степени образности ...

Терминологические, нейтральные: автоматическая лаборатория («Советская Россия», 18 ноября 1970); специальный транспортный аппарат (там же, интервью с академиком Я. Кожешником); передвижное автоматическое устройство (там же); передвижной аппарат (там же); первый в мире радиоуправляемый аппарат на Луне («Известия», 23 ноября 1970); самоходный аппарат («Правда», 19 ноября 1970; «Советская Россия», 21 ноября 1970); транспортное устройство, самодвижущееся устройство («Правда», 18 ноября 1970, интервью с создателем самоходного шасси); машина, автомат (там же); лунный самоходный аппарат («Правда», 18 ноября 1970); автоматический аппарат («Правда», 18 ноября 1970); «Создание подвижных аппаратов — новый важный этап в изучении Луны» («Правда», 18 ноября 1970); «Луноходов было несколько. Правда, здесь, на заводе, они назывались иначе — технологические машины» (В. Губарев. Как родился луноход. — «Комсомольская правда», 19 ноября 1970).

Здесь же могут быть названы развернутые наименования — с определениями или приложениями при слове *луноход*: автоматические луноходы («Советская Россия», 18 ноября 1970); автомат типа «Луноход» («Советская Россия», 21 ноября 1970); автомат-луноход («Правда», 20 ноября 1970); автоматический луноход («Правда», 18 ноября 1970); «Настанет время, когда люди начнут обживать наш естественный спутник, застраивать его. Возникнут научные лунные базы и станции. Во всей многообразной деятельности человека на Луне его неизменными помощниками будут луноходы различных систем, различного назначения: луноходы-автобусы, луноходы-грузовики, луноходы-разведчики» (подпись под рисунком летчика-космонавта А. Леонова и художника-фантаста А. Соколова. «Правда», 31 декабря 1970).

Полуперифрастические: своеобразный робот («Советская Россия», 18 ноября 1970); «При помощи таких „блуждающих“ по Луне „киберов“-луноходов можно подробно изучить не только строение ее поверхности... но и получить обширные данные о физико-химическом составе лунного покрова» (Ю. Гордеев, инженер. Рейс за рейсом. — «Советская Россия», 18 ноября 1970); самоходная лаборатория («Известия», 17 ноября 1970); лунный робот («Известия», 18 ноября 1970 и «Вечерняя Москва», 11 декабря 1970); «Нет никакого сомнения, — подчеркнул Жан-Франсуа Денисс, — что „Луноход“ — этот маленький „мыслящий робот“ позволит значительно расширить поле исследования лунной поверхности» («Известия», 18 ноября 1970); самоходная установка («Комсомольская правда», 18 ноября 1970; по сообщению агентства ЮПИ, США); зонд-робот («Комсомольская правда», 19 ноября 1970; по сообщению газеты «Комба», Франция); первая в мире подвижная научная лаборатория (С. Вернов, Н. Контор. Служба солнца на Селене. — «Правда», 19 ноября 1970); робот («Советская Россия», 12 декабря 1970); «думающий» робот («Комсомольская правда», 20 ноября 1970; по сообщению «Газетт де Лозанн», Швейцария); советский самоход «Луноход-1» («Правда», 19 ноября 1970); лунная машина («Правда», 18 ноября 1970).

Перифрастические, образные: космическая колесница («Известия», 17 ноября 1970); Земля рукоплещет лунной «колеснице» («Комсомольская правда», 18 ноября 1970); лунный автомобиль («Комсомольская правда», 23 ноября 1970; «Неделя», 1970, № 50) и луномобиль («Правда», 8 декабря 1970, «Вечерняя Москва», 11 декабря 1970; «Советская Россия», 12 декабря 1970); автоматический исследователь («Правда», 18 и 19 ноября 1970); первый советский автоматический самоходный лунный разведчик («Правда», 18 ноября 1970); лунный вездеход («Правда», 20 ноября 1970; «Литературная газета», 25 ноября 1970, «Советская Россия», 12 декабря 1970); советский вездеход на Луне («Советская Россия», 12 декабря 1970); лунное «такси» («Первое путешествие лунохода». Спец. выпуск. Изд-во «Известия», 1970); солнцемобиль (Д. Биленкин. Путешествие по Луне.— «Вокруг света», 1971, № 1).

Наименование *луноход* (наряду с номенклатурным «Луноход-1») употреблялось, как известно, уже в первом официальном сообщении ТАСС: «... луноход оборудован научной аппаратурой ... на борту лунохода установлен французский отражатель для лазерной локации Луны» («Правда», 18 ноября 1970).

По поводу словообразовательной модели слова *луноход* необходимо сказать следующее.

Сложные слова со второй частью *-ход* (осложненные или не осложненные суффиксами) могут обозначать:

I (о действии, реже — приспособлении) ‘движение, ход того, что обозначено первой частью’ — ледоход (ход, движение льда), плотоход (движение, сплав плотов), рыбоход (ход рыбы на нерест); особо стоят: дымоход (труба для прохода дыма), судоход-н-ый (приспособленный для прохода судов);

II (о механизме и человеке) ‘движущийся, идущий так, как указано в первой части’ — самоход (чаще: самоход-н-ый; движущийся самостоятельно, автоматически), быстроход-н-ый (движущийся с большой скоростью), тихоход (передвигающийся или движущийся медленно; ср.: небесный тихоход); скороход (двигающийся, ходящий быстро; ср. старое: саног-скороходы); несколько особняком находится пешеход (идущий пешком, «пешим образом или способом»);

III (о транспортном средстве особого устройства) ‘движущийся с помощью того, что обозначено в первой части’ — пароход (при помощи пара; современный *паровоз* некоторое время при появлении назывался *пароходом*: в романе Глинки на слове Кукольника — «Дым столбом, клубит, дымится пароход ...»), электроход (с помощью электроэнергии), теплоход (с помощью теплового двигателя),

газоход (с помощью газового двигателя), турбоход (с помощью турбины), атомоход (с помощью атомного реактора), дизелеход (с помощью дизеля);

IV (о механизме особого назначения) 'передвигающийся, проходящий по тому, что обозначено в первой части': океанход (идущий по океану — о межконтинентальном судне), мореход-н-ый (плавающий по морям), планетоход (движущийся по планетам), вездеход (проходящий везде), болотоход (передвигающийся по болотам, по топкой местности), снегоход (передвигающийся по снежным заносам, сугробам), небоход (идущий по небу, космический аппарат) и т. д. Особо стоит *мореход* в значении 'мореплаватель, морепроходец'.

Сложные слова со второй частью *-ход* — активно развивающееся явление современного русского литературного языка. Словообразовательный «взрыв», связанный с этой моделью, произошел в последние 15—20 лет. В академической «Грамматике русского языка» (т. I. М., 1953) слова вроде *пароход, теплоход, электроход* рассматриваются еще как «малопродуктивные образования». В исследованиях начала 60-х годов отмечается уже появление большого количества сложных слов со второй частью «*-ход, -воз, -лет*: теплоход, электроход, газоход, турбоход, атомоход и др. Ср. также новые названия игрушек: планетоход («Вечерняя Москва», 2 апреля 1962) и луноход («Известия», 29 октября 1962)» (В. В. Лопатин, И. С. Улуханов. — «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка», 1963, вып. 3).

В новой академической «Грамматике современного русского литературного языка» (М., 1970) сложные слова со второй частью *-ход*, обозначающие механизмы или технические приспособления, квалифицируются как высоко продуктивные, в особенности в технической терминологии. В частности слова с *-вед, -вод, -воз, -лет, -мер, -пробд*, а также с *-ход* в названиях средств передвижения, преимущественно по воде: пароход, теплоход, снегоход, вездеход. Слова аналогичной морфологической структуры со значением 'действие, названное основой глагола и конкретизированное в первой основе' (например: ледоход), по наблюдениям авторов новой академической грамматики, обладают слабой продуктивностью.

Действительно, выделенные нами четыре группы сложных слов с *-ход* различны по продуктивности. Группы I и II включают слова старые, давно известные в русском языке (в Словаре В. И. Даля: «*Тихоброд, тихоход* — животное

лентяй, ленивец, ползун»), тогда как группы III и IV широко представлены неологизмами, многие из которых появились в самое последнее время.

Слово *луноход* относится к выделенной нами IV группе. При внимательном изучении оказывается, что в ней объединены слова, не вполне однородные по значению. И в самом деле, если, с одной стороны, слова *небоход*, *океаноход*, *планетоход* и т. п. обозначают 'проходящий или идущий,двигающийся по чему-нибудь' (что обозначено в первой части слова), то, с другой стороны, такие слова, как *болотоход*, *снегоход*, *вездеход* и т. п. значат 'проходящий через, преодолевающий что-нибудь' (то, что выражено в первой части), а не просто двигающийся, перемещающийся по чему-нибудь. В словах этого подтипа группы IV вторая часть *-ход* соотносится не с бесприставочным *ходить* 'двигаться', а с приставочным *проходить* 'преодолевать при движении' (подобно тому, как вторая часть *-вод* в словах *рисовод*, *садовод* и т. п. соотносится не с *водить*, а с *разводить* 'выращивать').

Можно полагать, что новообразование *луноход* совместило в себе значения обоих подтипов группы IV. Наряду с тем, что это «аппарат для движения по Луне», это также еще и механизм для преодоления преград на поверхности Луны: кратеров, расщелин, валунов и камней, особых свойств почвы и т. п. Не случайно при подготовке аппарата в наземных условиях он долго испытывался на специальном лунодроме, — площадке, максимально воспроизводящей лунный рельеф: «В ходе разработок [лунохода.— Л. С.] были проанализированы самые разные типы движителей: гусеничный, шагающий, прыгающий и даже летательный аппарат. Именно изучение предполагаемых особенностей эксплуатации на Луне привело к идее создания восьмиколесного шасси ... Значительная длина системы колес позволяет машине преодолевать широкие трещины и выступы» (Ю. Зайцев, инженер.— «Партийная жизнь», 1971, №2).

Писатели-фантасты, имея в виду особенности лунного грунта, писали об аппаратах, работающих на Луне, в самих названиях которых присутствует часть *пыле-*, например *пылеход* и *пылекат* у Артура Кларка в повести «Лунная пыль». «Советская станция „Луна-9“ ... развеяла как легенду мысль о толстом слое лунной пыли. Вряд ли понадобятся когда-нибудь на практике предложенные Кларком термины „пылеход“ и „пылекат“» («Известия», 17 ноября 1970).

Особенности движения в необычных условиях легли в основу названия лунной машины. Ведь в ином случае главным мог оказаться источник энергии (движения), и тогда мы имели бы (по типу группы III) что-то вроде *солнцехода* (известно, что каждое колесо лунохода имеет солнечную батарею). И не случайно перифрастические наименования включили, например, *солнцемобиль* (которое естественно и логично в ряду *автомобиль, электромобиль, солнцемобиль* — в отличие от простого метафорического *луномобиль*, стоящего вне этого ряда и образованного из сочетания *лунный автомобиль*). Рассказывая о новом двигателе на Луне, специалисты вспоминали и «шагающую машину» П. А. Орловского (1916) и «стопход» П. Л. Чебышева: «у лунохода большая история. И нисходит она ко второй половине прошлого века — к странному, почти фантастическому механизму, который его создатель — великий русский математик и механик Пафнутий Львович Чебышев — назвал „Стопходом“» («Комсомольская правда», 23 ноября 1970).

Объединение в значении слова *луноход* двух подтипов группы IV привело к временному смешению в широкой печати двух разных образований — *луноход* и *планетоход*: «Поэтому, когда стало известно о первых прогулках планетохода по Луне, все задумались над вопросом: а как они удались?» («Известия», 18 ноября 1970); «Пройдут годы. В будущем автоматические станции столь же успешно опустятся и на поверхность Марса, Меркурия, Венеры и других более далеких планет. Из их люков выползут автоматические подвижные устройства, которые будут называться планетоходами или более красочно, например „марсоходами“» («Советская Россия», 18 ноября 1970).

Смешение слов *планетоход* и *луноход* объясняется, конечно, тем внеязыковым фактом, что реальный (а не предполагаемый или фантастический) *луноход* вместил в себя два этих разных понятия.

В очерке «Путешествие по Луне» журналист Д. Биленкин совершенно справедливо пишет: «На первый взгляд, 17 ноября 1970 года произошло одно-единственное достойное быть записанным золотыми буквами событие: в путь по лунной равнине отправился построенный людьми *вездеход*. На деле это событие вмещает в себя несколько равно достойных.

Луна не считается планетой только потому, что она спутник Земли, а не Солнца. Во всех других отношениях это вполне „полноценная“ планета типа Меркурия. Поэто-

му можно сказать, что советский *луноход* означает рождение нового вида транспорта — инопланетного» («Вокруг света», 1971, №1).

Итак, речь идет о появлении инопланетного транспорта. В связи с этим в общем употреблении появляется и укрепляется тенденция придать слову *планетоход* значение 'механизм,двигающийся по небесным телам, планетам', то есть сделать его родовым понятием по отношению к видовым *луноход, марсоход, юпитероход, венероход* и т. п. (где в каждом конкретном случае имеется в виду *планетоход* на том или ином космическом объекте). Именно так употребляются слова *луноход* и *планетоход* в более поздних публикациях нашей прессы, например в статье В. Смирнова «Штурманы планетоходов»: «Членам экипажа лунохода пришлось учиться работать с телевизионными системами, так сказать, на ходу ... Для будущих планетоходов наверняка понадобятся топографические карты. Необходимы они, например, для путешествия по Марсу... Они (штурманы) возьмут на себя не просто прокладку курса планетохода и определение его координат, но и вождение машины с определенными исследовательскими целями. Это относится к штурманам, управляющим автоматическими самоходными аппаратами с Земли, и к штурманам экипажей больших „обитаемых“ планетоходов...» («Правда», 19 января 1971).

Русское слово *луноход*, подобно иным космическим словам (*лунник, спутник*) и советизмам (*колхоз, комсомол, Советы*), входит без перевода в другие языки современного мира, знаменуя собой новые успехи советской науки. «Новое русское слово „Луноход“ сразу же вошло в лексикон японцев», — сообщает, например, агентство «Киодо Цусин» («Комсомольская правда», 18 ноября 1970).

Не менее важно и то, что и в самом русском языке новое слово *луноход* дало толчок к образованию ряда других (*марсоход, юпитероход, венероход* и т. п.), а также к заметному оживлению «лунной» лексики в связи с дальнейшим обживанием нашего естественного спутника. По образцу прилагательного *кругосветный* (вокруг земли) появилось новое прилагательное *круголунный* (вокруг Луны): «В принципе самоходным аппаратом такого рода можно было бы поручить и первые „круголунные“ экспедиции» (беседа корреспондента ТАСС с академиком А. А. Благовровым. «Московская правда», 17 января 1971). И уж, конечно, никого не удивило новое прилагательное *луноход-*

ный: «Этапы луноходной страды» («Советская Россия», 3 февраля 1971).

Впрочем, как это часто бывает с неологизмами, здесь не обошлось и без издержек. По-видимому, вряд ли целесообразна многозначность второй части *-лог* (*-логия*), которая в космических новообразованиях наших дней может обозначать и ученого, исследователя небесных тел, и космического геолога. Ср., например, *планетология* по типу *геология*: «Рождается новая специальность — планетология» («Правда», 20 ноября 1970, статья геолога К. Флоренского «Луна расскажет о Земле», в которой речь идет о строении небесных тел — о «космической минералогии»); также: «Лунологи выбрали отличную площадку» («Правда», 23 ноября 1970; речь идет о селенологах и селенографрах — специалистах по Луне, «луноведах»).

Однако эти издержки никак не могут затмить главного события в жизни языка — рождения нового слова *луноход*, которое из потенциального слова, наименования детской механической игрушки или аппарата будущего в произведениях писателей — космических фантастов — на наших глазах превратилось во вполне реальное и «вещное», настоящее слово русского языка и ряда других языков мира. И эта быстрая его интернационализация — лучший памятник, увековечивающий новую победу советской и мировой космической науки.

Л. И. СКВОРЦОВ



Любителю этимологии

(Продолжение. Начало см.: «Русская речь», 1971, № 1—2)

Задача этимолога — не только найти первоначальное значение, но и проследить изменение внешнего (звукового) облика слова. В этом ему помогает знание фонетических законов, действовавших в отдаленные эпохи развития языка.

Один из таких законов — упрощение групп согласных. Например, очень давно, еще в период общеславянского языкового един-

ства (в праславянскую эпоху), было невозможно сочетание согласных *бв*: согласный *в* выпадал, оставалось только *б*. Это фонетическое изменение происходило чаще всего на стыке приставки *об-* и корня, начинающегося на *в*: *об-водъ* (от глагола *водити*) закономерно превращалось в *ободъ*, *об-возъ* (от *возити*) — в *обозъ* и т. д.

Позднее, уже в эпоху раздельного существования славянских языков, этот фонетический закон перестал действовать, и стали возможны такие образования, как *обводить*, *обвозить*, *обвинить* и т. п., без изменения *бв > б*. Но в языке остались и такие слова, как *сбод*, *обоз*, сохранившие в себе следы бывшего звукового изменения. Изменение это уже не было живым фонетическим процессом, а потому состав таких слов оказался затемненным, приставка *об-* перестала в них выделяться и слилась с корнем, произошло опрощение.

Учитывая древнейшее изменение *бв > б*, мы можем восстановить первоначальный корень и в других словах (некоторые из них не исконно русские, а заимствованные из старославянского языка).

Так, глагол *обитать* (из **об-витати*), оказывается, происходит от глагола *витать* «жить, пребывать, находиться где-либо».

Обладать и *область* — исконно слова того же корня, что и *владеть*, *власть*, *волость*. *Область*, как и *волость*, буквально означало «владение». Заметим, что все приведенные слова, кроме *волость*, — книжного (старославянского) происхождения, с неполногласной формой корня.

Глагол *облечь* (и *облекать*) происходит от того же корня, что и *волоку*, *обволакивать*. К этому исконному корню восходят и слова *оболочка*, *облачение*, *облако* (некоторые из них — с неполногласием). Исходное, первоначальное значение слов: *облечь* «окружить, одеть», *облачение* и *оболочка* то, что окружает, одежда» (ср. *наволочка* того же корня), а *облако* «то, что обволакивает, окружает, дымка».

Тот же корень, что и в словах *вертеть*, *повернуть(ся)* и (с чередованием) *повертеть(ся)*, *поворот*, был первоначально и в словах *обернуть(ся)*, *оборотить(ся)*, *обратить(ся)*, *оборот*.

Подобные слова, как уже говорилось, рано потеряли связь со своим исконным корнем. Поэтому они легко подвергались и дальнейшим звуковым упрощениям. Так возник, например, глагол *бередить*. Исконный корень в нем тот же, что в слове *вред* и в диалектном (полногласном) *вѣред* «болячка, нарыв», а буквальное исконное значение — «причинять боль». Поскольку *об-* уже не было в этом слове приставкой, начальное *о-* в нем утратилось и **обереди* превратилось в *бередить*.

(Продолжение следует)

КАКИЕ ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ БЫЛИ В 1970 ГОДУ?

Московский государственный ордена

Трудового Красного Знамени
педагогический институт
имени В. И. Ленина

1. Образ В. И. Ленина в поэзии В. В. Маяковского.
2. Люди подвига в романе М. Горького «Мать».
3. «Сейте разумное, доброе, вечное» (Н. А. Некрасов).
4. Женские образы в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».
5. «Мы мечтою о мире живем» (Л. Ошанин).
6. «Прошедшего жителя подлейшие черты» (по комедии

А. С. Грибоедова «Горе от ума»).

7. Почему М. А. Шолохов назвал свой роман «Поднятая целина»?

8. Борцы за свободу и счастье народа в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

9. «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» (В. И. Ленин).

10. Разоблачение капиталистической действительности в пьесе М. Горького «На дне».

11. Чацкий и Онегин.

12. Гуманизм творчества А. С. Пушкина.

13. Народ и Родина в лирике Н. А. Некрасова.

Московский институт электронного машиностроения

1. Образ В. И. Ленина в творчестве В. В. Маяковского и М. Горького.
2. Космос.
3. Мой современник.
4. Подвиг.
5. «Темное царство» по драме А. Н. Островского «Гроза».

6. Сравнительная характеристика Печорина и Онегина.

7. Образ Кутузова по роману Л. Н. Толстого «Война и мир».

8. Образ русского народа по роману Л. Н. Толстого «Война и мир».

9. Период раннего романтизма в творчестве М. Горького («Данко», «Старуха Изергиль»).

Московский государственный заочный педагогический институт

1. Революционные мотивы в «Песнях» М. Горького («Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике»).
2. Коммунисты в романе М. А. Шолохова «Поднятая целина».

3. Классовая борьба в деревне по роману М. А. Шолохова «Поднятая целина».

4. Почему Чацкий порвал с фамусовским обществом?

5. Подвиги советской молодежи в годы Великой Отечественной войны.

6. Патриотизм лирики В. В. Маяковского.

ТЕРМИНЫ В ШКОЛЬНОЙ ГРАММАТИКЕ

Вопрос о терминах школьной грамматики всегда важен для методики. С особой остротой встает он перед учителем тогда, когда обновляется содержание учебного предмета. Какие из лингвистических терминов и какое толкование их предложить ученику? Как новые термины будут соотноситься в его сознании с уже усвоенными? Когда целесообразно вводить новый термин? Одни из этих задач чисто методические, другие отражают поиски решения спорных вопросов в науке, третьи связаны с проблемой употребления терминов в лингвистической литературе.

Давно уже стало традицией использовать в школьном преподавании русского языка строго лингвистическую терминологию, даже если термин порой затрудняет усвоение учащимися соответствующего понятия. Трудности, как показывает опыт, могут возникнуть, если в качестве термина используется слово (или сочетание слов), известное школьникам по его нетерминологическому употреблению. Например, *совершенный вид* воспринимается учащимися как характерный признак глагола, обозначающего действие, уже совершившееся; *местоимение* — как слово, употребляемое «вместо имени». По этой же причине словосочетание воспринимается как любое сочетание слов. Между тем в новой программе по русскому языку принято более узкое понимание этого термина: словосочетание — это синтаксическая единица, имеющая свои особые признаки (грамматическое значение и грамматические средства его выражения), которые отличают его от ряда сочетаний слов (синий и зеленый, буду читать, на реке) и предложения как единицы синтаксиса. Значение термина необходимо переосмыслить.

В языкознании для обозначения одного и того же понятия часто используются разные термины. В школьном преподавании, где единство терминологии не только проявление лингвистической закономерности, но и методическое требование, необходимо избегать терминов-синонимов, терминов-дублетов.

В лингвистических работах при рассмотрении структуры словосочетания используется ряд терминов: главное слово, господствующее слово, стержневое слово, ведущее слово, определяемое слово, распространяемое слово, подчиняющее слово и др., (главный или зависимый) член словосочетания, компонент словосочетания, часть словосочетания, элемент словосочетания и др. Для школы необходимо выбрать одно из этих обозначений. Предпочтением заслуживает прежде всего термин простой, доступный для усвоения, легко произносимый. Этому требованию, казалось бы, отвечают термины, использованные в проекте новой программы для школы: *главное слово* (зависимое слово) словосочетания. Однако в практике анализа словосочетаний встречаются такие примеры: девочка с серыми глазами. Термин *зависимое слово* приходится применять к сочетанию слов. Здесь, на наш взгляд, более удобен термин *член словосочетания* (зависимый член). Термин *член словосочетания*, широко используемый в лингвистической литературе, удобен и в методическом отношении: легко усваивается учащимися, применим при анализе различных словосочетаний, а в сопоставлении с термином *член предложения* способствует формированию понятия о синтаксической конструкции. В данном случае термин, вводимый в учебный обиход без определения (словесной формулировки) понятий, играет роль своеобразного средства формирования этого понятия.

Бывает и так. Мы сообщаем школьникам те или иные сведения о языке, не прибегая к научным терминам. Такой прием вполне оправдан по отношению к материалу, предназначенному для практического усвоения, либо очень сложному теоретически, либо не связанному прямо со школьным курсом. Однако в некоторых случаях отсутствие в школьных учебниках лингвистического термина осложняет работу над усвоением грамматических категорий. Так, организовав опытное преподавание синтаксиса в VII классе в соответствии с проектом новой программы

по русскому языку, мы стремились раскрыть понятие «предикативность», не употребляя данного термина, так как его не было в программе. Когда шла речь о грамматическом значении сказуемого или главного члена односоставного предложения, употреблялись термины *синтаксическое наклонение* и *синтаксическое время*. Но при изучении обособленных членов предложения, где учащимся надо уяснить *полупредикативность* данных конструкций, организовать эту работу очень трудно из-за отсутствия термина *предикативность*, а соответственно и *полупредикативность*.

Проект новой программы по синтаксису ориентирует на то, чтобы были раскрыты особенности связи между подлежащим и сказуемым в сопоставлении со способами связи слов в словосочетании: согласованием, управлением примыканием. Однако специального термина (или терминов) для обозначения связи между подлежащим и сказуемым нет, поэтому решение поставленной в программе задачи значительно осложняется. Причины следует искать в отсутствии общепринятых терминов для обозначения разных способов предикативной связи в лингвистических исследованиях. Удобные в методическом отношении термины были предложены в свое время С. И. Карцевским: предикативное согласование, предикативное примыкание, предикативное управление (последний термин при современном понимании управления как вида связи теперь, очевидно, пришлось бы опустить из данного ряда). Они могли бы помочь сосредоточить внимание учащихся на существенных различиях подчинительной и предикативной связи.

В методике нередки случаи, когда «внутренняя форма» лингвистического термина подсказывает ход работы над обозначаемым им понятием. Да и методические термины (а соответственно и приемы, формы, пути работы) нередко обязаны своим рождением лингвистическим терминам и соответствующим им понятиям. Например, традиционное в методике синтаксиса задание «распространить предложение» связано с понятием «распространенное предложение». Задание же «распространить слово» ново и непривычно для школы, где до сих пор словосочетание рассматривалось как продукт членения предложения. Новый методический термин подсказан специальными лингвистическими работами, в которых словосочетание

рассматривается как результат распространения слова другим словом (или словами).

Конечно, дело не просто в увеличении числа методических терминов, а в обогащении приемов работы, определяемых существом языковых категорий.

А. Ю. КУПАЛОВА

Пушкино Московской области

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ» — СТУДЕНТУ И УЧИТЕЛЮ

Издательство «Просвещение» в течение последних лет публикует труды выдающихся русских лингвистов. Уже вышли: «Историческая грамматика русского языка» Ф. И. Буслаева (1959); «Из записок по русской грамматике» А. А. Потебни. III том (1968); «Избранные труды» Ф. Ф. Фортунатова (т. I — 1956; II — 1957); «Историческая морфология русского языка» А. А. Шахматова (1957); «Из трудов А. А. Шахматова по современному русскому языку (учение о частях речи)» (1952); «Избранные работы по русскому языку» Л. В. Щербы, включающие его классическую статью «О частях речи в русском языке» (1957); «Русский синтаксис в научном освещении» А. М. Пешковского (1956); «Избранные труды» А. М. Селищева (1968) и др.

Совсем недавно (1970) опубликованы «Избранные труды» (в 2-х томах) выдающегося советского ученого члена-корреспондента АН СССР В. И. Чернышева. В двухтомник вошли 53 работы, из них десять ранее не изданных. Инициатива собрания и издания избранных трудов самобытного русского лингвиста принадлежит академику В. В. Виноградову, который и написал всту-

пительную статью о жизни и научной деятельности В. И. Чернышева.

Все эти книги — необходимые пособия студентов и учителей-словесников, потому что в них освещаются вопросы, предусмотренные вузовскими программами. Книги эти очень нужны всем, кто серьезно изучает русский язык. К сожалению, до последнего времени большинство указанных трудов было библиографической редкостью.

Перед современным учителем русского языка стоит задача не только обучить ученика орфографии и пунктуации, но и научить его глубоко мыслить и понимать обаяние и силу русского языка. Решение этой задачи возможно лишь при условии прочного знания великого наследия русской языковедческой и методической мысли. Материалы вузовских учебников и лекций (даже самых совершенных) не могут заменить трудов Ф. И. Буслаева, А. А. Потебни, А. А. Шахматова, А. М. Пешковского, Л. В. Щербы, А. М. Селищева, В. И. Чернышева. Ведь именно они создавали науку о «великом и могучем русском языке». В их трудах мы находим ценнейшие наблюдения по современному русскому языку, его истории, диалектологии и методике преподавания.

Большое спасибо от студенчества и учителей-словесников издательству «Просвещение» за изданные книги!

Но немало важных трудов по русскому языку стало теперь библиографической редкостью, совершенно недоступны они студентам и преподавателям многих городов страны. Школа, высшая и средняя, учителя и студенты ждут переиздания произведений классиков русского языкознания, таких, как «Русская грамматика» А. Х. Востокова (которую знал и Пушкин), «Опыт русской грамматики» К. С. Аксакова, «Синтаксис русского языка» Д. Н. Овсяннико-Куликовского. Необходимо завершить издание знаменитого труда А. А. Потебни «Из записок по русской грамматике». Хорошо бы переиздать книги А. А. Шахматова «Синтаксис русского языка» и В. В. Виноградова «Русский язык» (1947), а также Л. А. Булаховского «Введение в языкознание» (1966).

*Заведующий кафедрой русского языка
Куйбышевского педагогического института,
профессор А. А. ДЕМЕНТЬЕВ*

**Лексический
атлас
Архангельской
области**

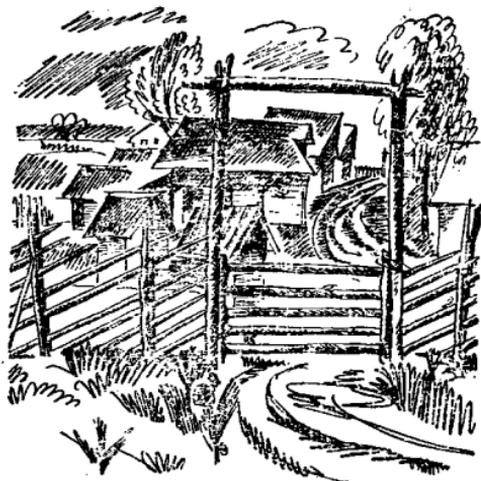
*Л. П. КОМЯГИНА
Архангельск*

Русская речь удивительно своеобразна на севере и на юге России, в устах коренных жителей рязанских или псковских деревень. Важная научная задача одного из разделов диалектологии, а именно лингвистической географии, — изучить распространенные языковых явлений. Диалектологи составляют языковые карты и атласы (см.: В. Я. Дерягин. — «Русская речь», 1968, № 3).

Лингвистические атласы различны по объему, масштабу и задачам, которые ставят перед собой их авторы. Создается «Общеславянский лингвистический атлас» (см.: В. Ф. Коннова. — «Русская речь», 1968, № 5). Наряду с атласами значительных территорий, каким будет, например, «Диалектологический атлас русского языка» под редакцией Р. И. Аванесова, составляются и атласы региональные (областные). В качестве примера можно назвать «Лингвистический атлас района озера Селигер» М. Д. Мальцева и Ф. П. Филина (М.—Л., 1949). Наблюдения над различиями в употреблении слов на территории Архангельской области дали материал для создания лексического атласа.

Вопросник, составленный специально для географического изучения лексики, проверялся методом непосредственного полевого обследования в 38 опорных пунктах (по Онеге, Двине, Пинеге, Ваге, по побережью Белого моря) и анкетным методом. Анкета была адресована учителям сельских школ.

Мы выражаем признательность всем, кто прислал ответы на вопросник из 214 школ области. С радостью откликнулись на нашу просьбу местные филологи, собирающие диалектный материал



вместе со школьниками: В. С. Шевелев из Вилегодской средней школы и П. В. Кондаков из Слободчиковской средней школы Ленского района. Прекрасные ответы прислали из Устьянского района С. Н. Заостровцева, учительница русского языка и литературы Кустовской восьмилетней школы, и Б. П. Ергин из Строевской средней школы; из Коношского района — З. И. Порохина, учительница Подюжской начальной школы, и Г. В. Мологина, директор Завандышской начальной школы; из Красноборского района — А. И. Худякова из деревни Кучковской и Г. П. Шестаков, директор Дябринской средней школы; из Лешуконского района — А. А. Аксенова из Лебской начальной школы и Н. А. Галев из Вожгорской восьмилетней школы; А. П. Колпаков из Скарлахтинской начальной школы Плесецкого района; В. Я. Рудаков из Плесовской восьмилетней школы Холмогорского района; В. А. Попова и Н. Ф. Калачникова из Георгиевской начальной школы Верхнетоемского района; Г. Н. Тихонова из Шоношской начальной школы Вельского района; С. В. Парыгина из Ошпапецкой восьмилетней школы Ленского района и многие другие.

Помощь сельских учителей позволила проверить вопросник на всей огромной территории области за короткий срок — с июля 1967 по май 1969 года. А в условиях, когда диалекты отступают под влиянием литературного языка, очень важно дать одновременное отражение состояния диалектной лексики, чтобы материал был пригодным для сравнения. Помощь сельских корреспондентов и их заслугу перед наукой о русском языке трудно переоценить.



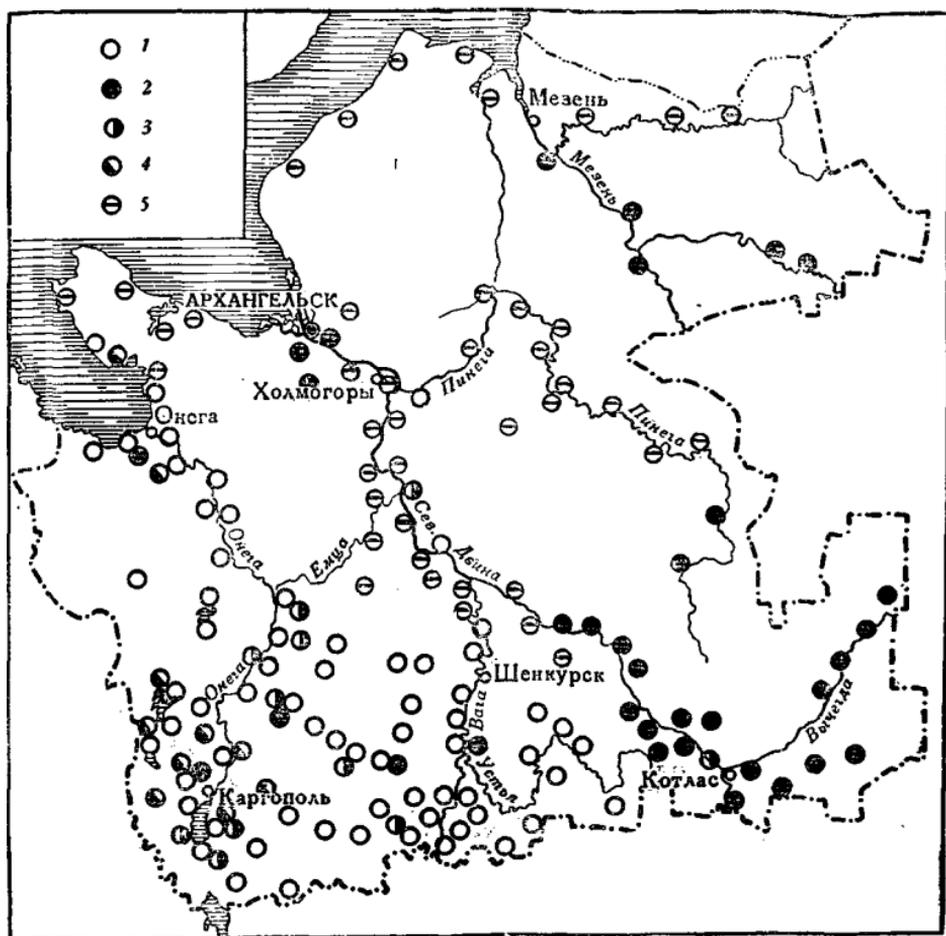
В анкете были вопросы двух видов. Мы спросили, как называется в говоре ручка корзины: *перевесло* или *поцѣпка*, и попросили обозначить ударение. Названий оказалось очень много: *поцѣпка*, *поцѣпка*, *коцѣпка*, *дуга*, *дужка*, *перевесло*, *перевѣсло*. Как называется паук? Ответы: *музгѣрь*, *mozгѣрь*, *музгѣрь*, *мизгѣрь*, *музгѣрь*, *мизгѣрь*, *тенѣтник*, *тенѣтник*, *тенѣтник*, *тенѣчик*, *павѣк*, *павѣк*, *павѣк*.

Другой вид вопросов: «Есть ли в вашем говоре слово *обильѣ* и каково его значение — «хлеб на корню», «урожай» или «солома»?». Нам отвечают, в каком значении слово встречается в говоре и употребляется ли оно вообще. На вопрос «Каково значение слова *костѣр* в вашем говоре?» наши корреспонденты указывают диалектные значения слова: «поленница дров», «укладка бревен», «куча бревен». Слово *лопотѣна* — «один предмет одежды»; «старая, ветхая одежда»; «верхняя одежда»; «шелковая одежда»; «шелковый или шерстяной сарафан».

В вопроснике подобраны не случайные слова, здесь отражаются те явления, которые противопоставлены на территории области, то есть установлено, что слово употребляется в одних районах и отсутствует в других или слово имеет разные значения в разных районах, что существуют различные названия для одного и того же предмета, понятия.

По ответам на вопросы «Есть ли у вас слово и каково его значение?» составляются лексические карты, на которых показано наличие слова в одних говорах и отсутствие в других (распространение слова *мѣрок* в значениях «грозовая туча», «мелкий осенний дождь», «туман», «плохая погода»; слова *угѣр* — «холм, гора», «высокий берег реки»). На семантических картах показано распространение слова в разных значениях. Одно слово-название в разных говорах может быть соотнесено с разными предметами, явлениями действительности: *лѣтка* (лѣдка) — «глиняная сковорода с высокими краями», «глиняная посуда, в которой растворяют тесто», «глиняный широкий сосуд для молока». На карте 1 показано распространение и значение слова *бурак*: 1 — «большая корзина из сосновой дранки для травы, сена»; 2 — «берестяной сосуд цилиндрической формы для жидкости»; 3 — «плетеная из бересты коробка для хранения муки»; 4 — «ручная корзина»; 5 — отсутствие слова.

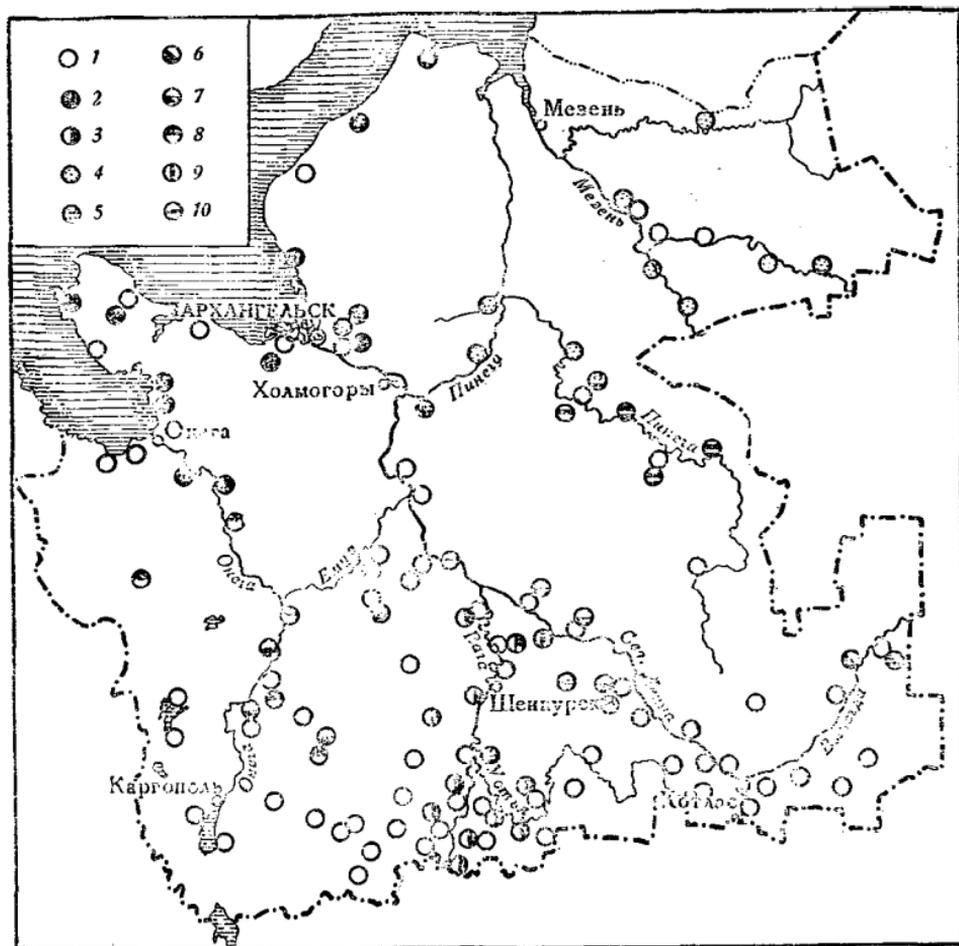
На основе ответов на вопросы «Как у вас называется?» составлены карты, показывающие распространение различных наз-



Карта 1. Распространение и значения слова *бурак*

ваний одного и того же предмета, понятия. Такова карта 2 «Диалектные названия инея»: 1 — *куржэвіна* (с разными ударениями); 2 — *кўржуха, куржуха́*; 3 — *куржева́, куржэва*; 4 — *куржак*; 5 — *куржомáка*; 6 — *куржб́*; 7 — *хáрмовина, хармовіна*, 8 — *хармохá*; 9 — *хáрма*; 10 — *харм*.

Различное произношение слова *глина* показано на карте 3. Слово *сковорода* произносится с пшым, чем в литературном языке, ударением — *сковорóда* — главным образом в западной части области (4 — на карте 4). Ширина размаха косца при косьбе, ширина полосы, скошенной в один прием называется в бассейне Онеги словом *прокóсьё* (2 — на карте 4). С ним сосуществует здесь слово *прокóс*, которое распространено далее на восток, на карте показана его восточная граница — 3. Здесь же обозначена граница

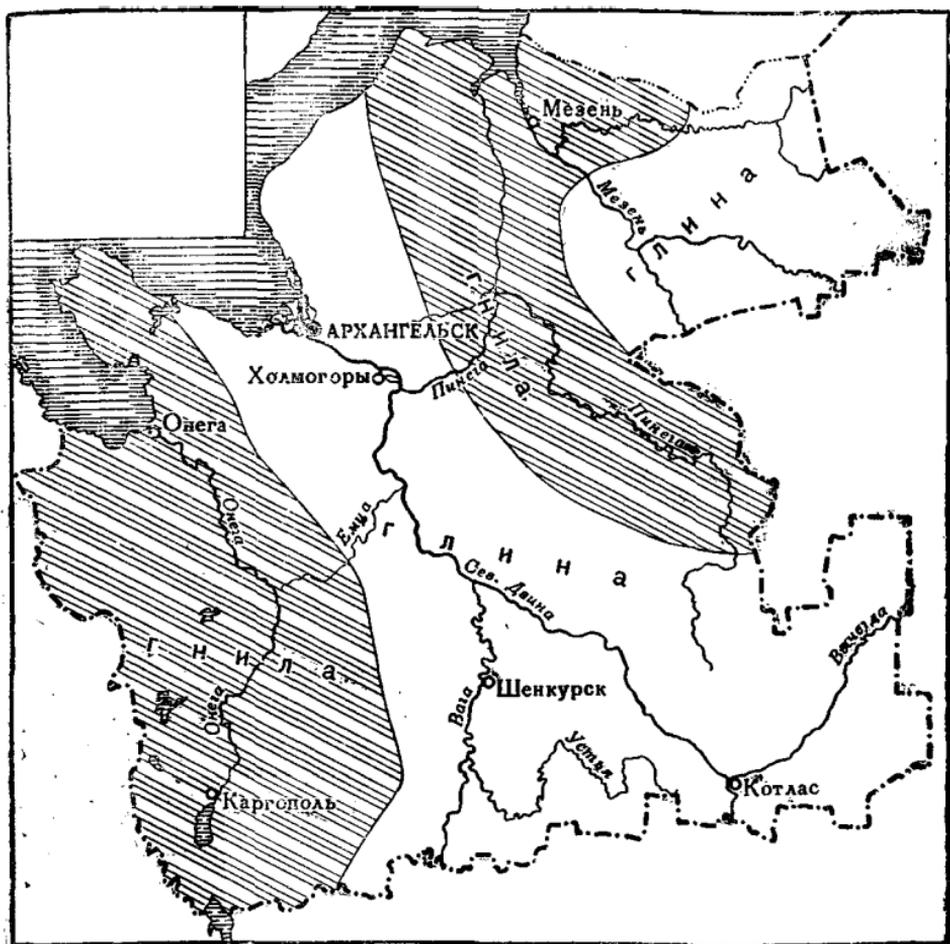


Карта 2. Диалектные названия инея

распространения еще одного названия с тем же корнем, но с приставкой *по-*: *поко́с* — 1.

На карте «Диалектные названия мелкого льда в воде при ледоставе» обозначено различие существительного *шуг* (*шугá*) по принадлежности к грамматическому роду и типу склонения. Это различие образует основное противопоставление (карта 6, граница 2: *шуг* — на западе, *шугá* — на востоке области).

На картах этнолингвистических отражаются различия, обусловленные особенностями в материальной культуре; эти карты показывают наличие какой-то реалии (предмета) на одной территории и отсутствие ее на другой. Карта 5 «Распространение изгороди из жердей, укрепленных наклонно, и названия ее» (эта изгородь изображена на стр. 95)—5 — граница распространения са-

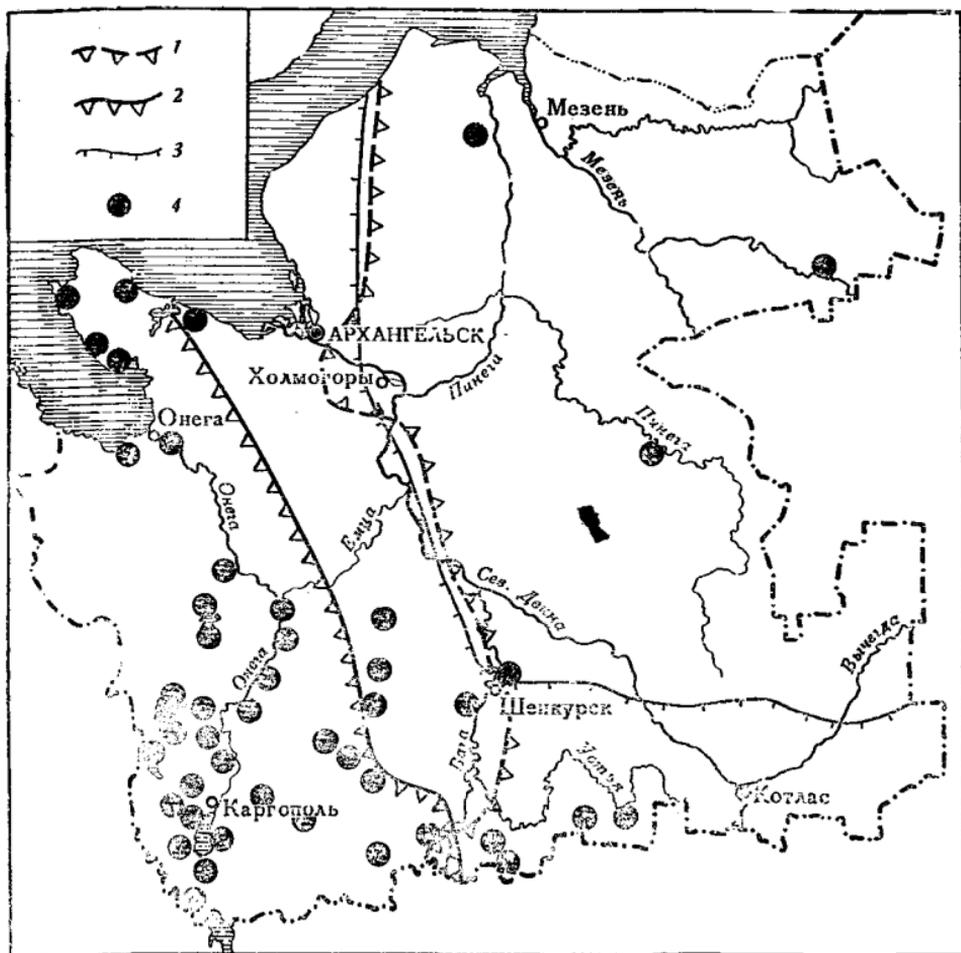


Карта 3. Произношение слова *огоро́д*

мой реалии; границы различных ее названий: 1—*косой огоро́д*, 2—*косая огоро́да*, 3—*косая огоро́дь*. 4—*косяк*.

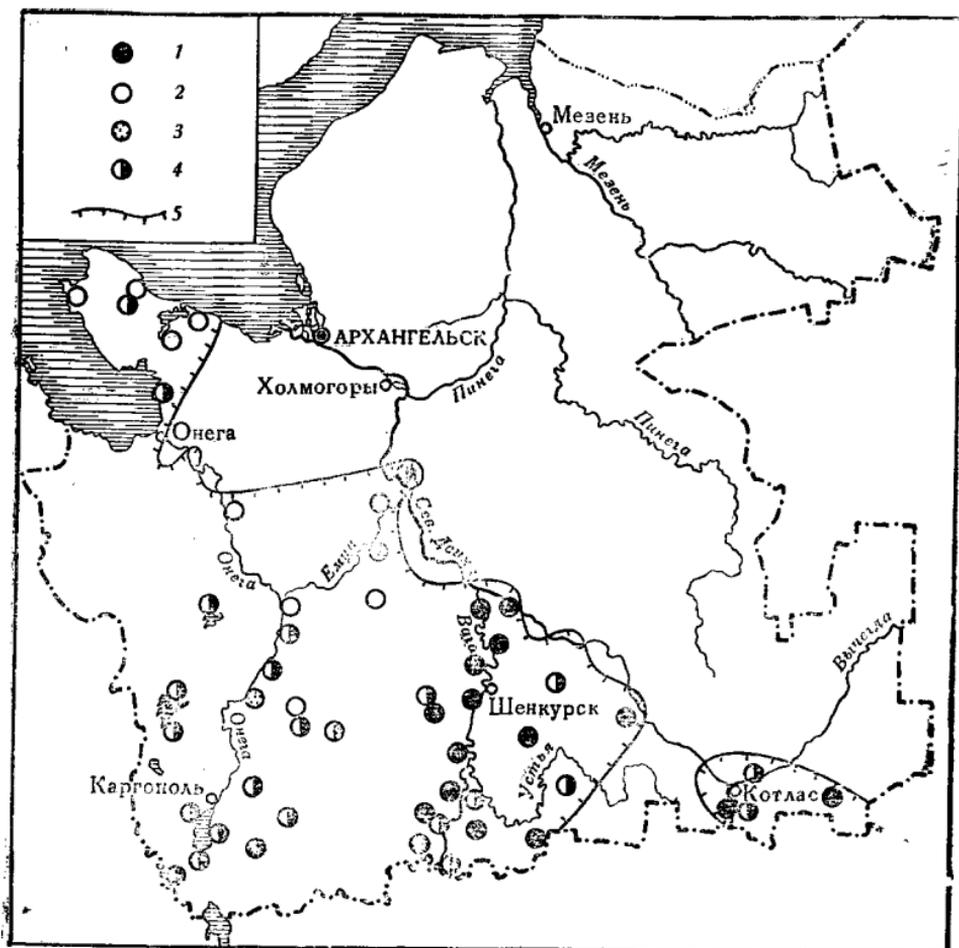
На многих картах отразилось несколько видов лексических диалектных различий: распространение нескольких слов-названий и отличия в произношении, в значении и словообразовательной структуре. Иногда одна карта позволяет выделить не один ареал (область распространения языкового явления), а несколько.

На основе географического изучения лексики в пределах области по пучкам отдельных изоглосс (границ) намечаются общие границы. Одна из них, очень важная, проходит по водоразделу Онеги и Северной Двины (см. карту 6). Онега отделяется от остальной территории области множеством изоглосс: 1—«приспособ-



Карта 4. Распространение слов покос, прокос, прокосъё. Произношение слова скворода

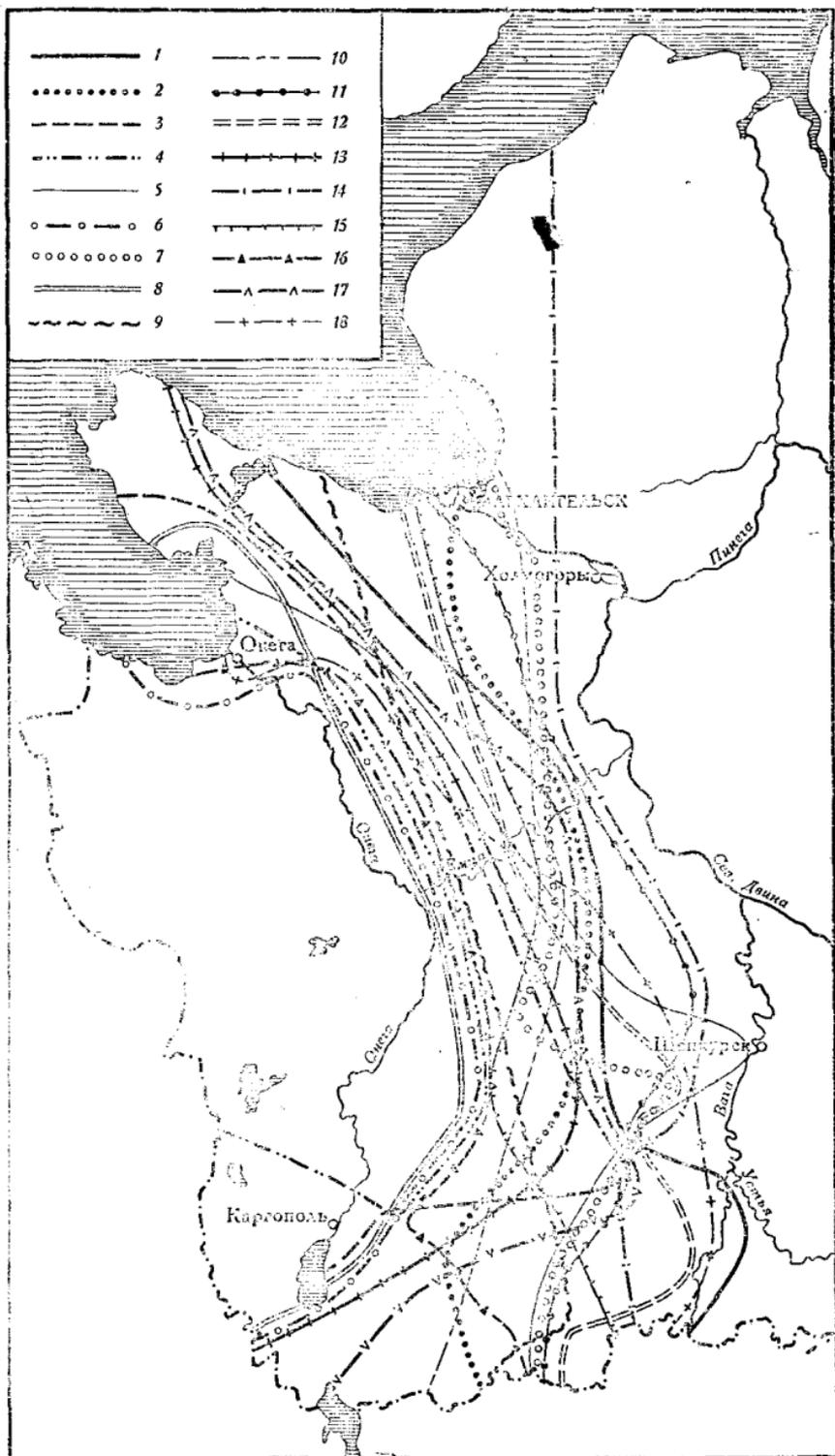
ление для плетения сетей? шуйка на Онеге / игёлка, игла — на восток от указанной границы (за косой чертой будем называть слова или варианты слов, которые соответствуют онежским на остальной территории); 2—«мелкий лед в воде при ледоставе» шуг, шух / шугá; 3—«колодка грабель с зубьями» шáлга / хребёт, хребтíна, головка, головки, оголовьё, сголоввьё, мáтка, мáточка, грядка, колóда; 4—«расстояние между домами» межúток / проúлок, заúлок, úлка, úлица, úлочка; 5—«несколько дней назад» посéдни / онóгдась, онóгды, намéдни, онómесь; 6 — «грузиле удочки» погрúз / грúзило, грúзиво; 7—«кнут» погоня́лка / ремёнка, ремённица, понюжа́лка, понюжа́ло; 8—«заплечная корзина из бересты с крыш-



Карта 5. Распространение изгороди из жердей, укрепленных наклонно. Названия такой изгороди

кой) кошэль / кúзов, перстёрь, пехтёрь, бехтёрь; 9— «подзывные слова для овец» ч́ига — ч́ига / ч́ака — ч́ака, б́аси — б́аси, б́аля — б́аля, ч́кй — ч́кй, ќыч — ќыч, с́ерка — с́ерка; 10— «сверхъестественное существо, которое, по народному поверью, обитает в бане» б́аенной / б́анник, б́аннушко, обдер́иха, сдер́иха, задер́иха.

Остальные границы на карте 6 указывают распространение слов в восточных районах области и отсутствие их на Онеге: 11— стру́га, застру́га «песчаная мель, отмель», «обрыв за отмелью»; 12— полб́й «рукав реки»; 13— л́адочка «глиняная посуда» (на Онеге произносят только л́аточка); 14— скамья́, скамья́йка «козлы»; 15— и́грище «вечернее собрание молодежи с играми, танцами»; 16— кúтю—



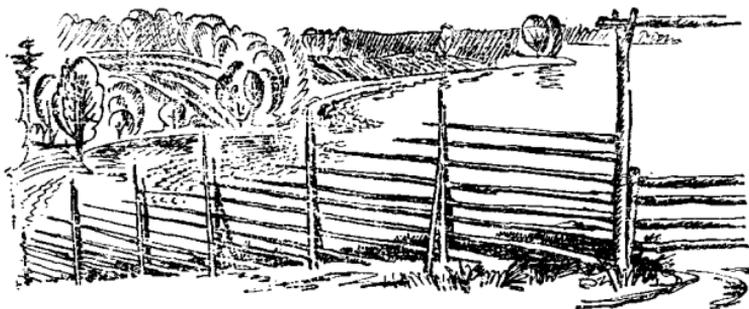
Карта 6. Онежские изоглоссы

кúтю «подзывные слова для кур»; 17— *пláшка* «мышеловка»; 18 — названия стрекозы с корнем *стрел* (*стрелóк, стрелá*), на Онеге в этом значении употребляется слово *коромысло*.

Лексика русских крестьянских говоров на территории современной Архангельской области представляет большой интерес для географического исследования: здесь отразились следы различных колонизационных потоков из более южных районов, следы культурных влияний, результаты взаимодействия русских говоров с языками древнейшего финского населения Севера, а также длительного соседства на западе и востоке с нерусским населением.

Языковые атласы, в частности лексические, имеют важное значение для изучения истории языка и истории народа, говорящего на этом языке. Лингвогеографическое исследование лексики позволяет наметить путь от современных отношений между говорами к их истории. Результаты лингвогеографического обследования в сопоставлении с данными местных письменных памятников дадут возможность до известной степени восстановить историю развития изучаемых говоров.

Лексический атлас Архангельской области может быть использован при изучении истории заселения Севера русскими. Сравнение данных этнографии, археологии, фольклора с языковыми данными позволит сделать выводы о происхождении и составе первоначального русского населения этой территории. Предположения о путях заселения Севера русскими выдвигаются на основе материалов других наук: антропологии (М. В. Витов.— «История СССР», 1964, № 6); фольклора (С. И. Дмитриева.— «Советская этнография», 1969, № 4). Примечательно, что границы, намечаемые на основе данных антропологических и фольклорных, на территории Архангельской области совпадают с языковыми.



ВИКТОРИНА

Составил П. М. Шишов

◆ 1. Хорошо наш русский народ поет в песнях об урожае, как пшеница колосится и как зреет в поле рожь густая. Здесь слово *зреет* означает 'созревает': А вот в старину глагол *зреть* имел еще другой смысл. Во многих современных русских словах твердо закрепились корни этого глагола со старым значением. Что еще означало в старину слово *зреть* и какие можно назвать современные русские слова, происшедшие от этого корня?

◆ 2. Что общего между *союзником* и *узником*? Казалось бы, по смыслу эти слова совершенно разные. Союзник — член добровольного объединения, союза. Узник — пленник, то есть человек в узах или оковах. И все же, несмотря на смысловое различие, эти слова по происхождению имеют что-то общее. Что именно?

◆ 3. В знак благодарности мы говорим: «Благодарю Вас!» или просто: «Спасибо!».

А что, собственно, означает слово *спасибо*? Если говорить точно, то это даже не слово, а целое выражение. Какое?

◆ 4. В нашей речи частенько встречается слово *пожалуй* с разными окончаниями. Приглашая кого-нибудь, обычно говорят: «Пожалуйста сюда!». Есть еще слово *пожалуйста*, которое выражает вежливую просьбу. В этом русском слове имеется странное окончание *-ста*, объяснение которому можно найти только в нашей старине, в истории. Что означает это окончание и что в свое время оно выражало?

◆ 5. Старое слово *алчный* мы переводим на современный

русский язык как 'жадный'. Но далеко не каждый из нас так же легко объяснит смысл слов *алчущий*, *алкать*. Как переводятся эти два старославянских слова на наш современный язык?

◆ 6. Казалось бы, что общего между швейцаром и Швейцарией? И все же первое слово произошло от второго. Попробуйте объяснить, каким образом «швейцар вышел из Швейцарии».

◆ 7. Слово *нечаянно* и *отчаяние* по смыслу далеки друг от друга. А между тем корень у них один. Этот же корень в старинном славянском слове *чаяние*. Что оно означает в современном русском языке?

◆ 8. Всем известно, что слова *индеец* и *индиец* означают разные понятия: коренной житель американского континента и житель Индии. Но оба эти слова произошли от одного, общего корня ... по ошибке. Как произошла эта ошибка и кто ее «автор»?

◆ 9. *Апельсин* — слово не русское. Оно заимствовано из голландского языка, который входит в германскую группу. Человеку, немного знакомому хотя бы с немецким языком, нетрудно перевести это слово на русский. Подскажем, что *апельсин* состоит из двух голландских слов. Из каких именно и как они переводятся на русский язык?

◆ 10. Слово *ярмарка* сильно обрусело. Привычными стали традиционные ярмарки в наших городах и селах. А между тем название *ярмарка* — иностранного происхождения и состоит из двух слов. Какие это слова и как в целом переводится на русский язык заимствованное слово *ярмарка*?

(Ответы на стр. 123).



Утро, день, вечер и ночь составляют вместе *сутки*. Астрономы различают *сутки* звездные, истинные солнечные и средние солнечные. Но в быту под этим словом разумеют именно средние солнечные *сутки*, составляющие 24 часа. «Счет суток обычно от восхода солнца, — пишет В. И. Даль, — но зовут сутками и всякие 24 часа подряд». *Сутки* — одна из основных единиц измерения времени, положенная в основу современного календаря.

Д. Прозоровский обратил внимание на то, что в летописях слово *сутки* не встречается. «По крайней мере, — пишет он, — слово это мне не попадалось». В Торговой книге читаем: «А коли путем итить, ино знати время: год 52 недели, неделя 7 дней, день 24 часа. Итак, *сутки* называли днем» (Записки Отделения русской и славянской археологии Академии наук. Т. I, отд. III). Но *днем* называлась также светлая часть суток, как и в современном русском языке. До сих пор в живой речи, если надо указать на все 24 часа дня и ночи без перерыва, принято говорить не просто о сутках, а о *круглых сутках* или *целых сутках*: «Жизнь на судне круглые *сутки* идет своим чередом» (Рыбаков. Екатерина Воронина).

Для обозначения суток есть морской промысловый термин *две воды* (период времени в 24 часа) и областное слово *обыденки*. Надо сказать, что в говорах для обозначения и суток, и дня (периодов в 24 часа и в 12 часов) используется часто одно и то же слово, например *обыдень* (новгородское), *овьдень* (пермское) — ‘в один день, за один день, одним днем или в *сутки*, сутками, в 24 часа’ (Даль).

В литературном языке наравне со словом *сутки* употребительно сочетание *день и ночь*: «... какая скука С большим сидеть и день, и ночь, Не отходя ни шагу прочь!» (Пушкин. Евгений Онегин). То же в народных поговорах: «День да ночь — сутки прочь». Ср. древнерусское *нощедьнь*, *нощедьница-ноштьедьница* 'сутки' (Словарь Срезневского).

Для обозначения темной части суток есть лишь одно общерусское древнейшее слово *ночь*, вошедшее и во фразеологические сочетания: по всей ночи, *ночь-ночьскую* (Словарь современного русского народного говора [деревни Деулино Рязанской области]. М., 1969). Для обозначения светлой части суток — дня — в говорах мы находим, кроме самого слова *день*, большое разнообразие лексических средств. Это связано, вероятно, с тем, что ночная пора и не требует ни слов, ни рассуждений; «Ночь-матка — все гладко»; «Ночь во сне, день во зле»; «Придет ночь, так скажем, каков день был» (Даль). День может быть *легкий* и *тяжелый*, *белый* (от зари до зари) и *черный* (пора нужды, бедствия, то же, что тяжелый), *серенький* (пасмурный, неясный) и *красный* (пора довольства, достатка: жаркий, солнечный, сухой день). О «красном», погожем дне могут сказать: *благой* день вчера был.

Самые долгие дни в знойное летнее время в Ярославской губернии носили название *межонные дни* или просто *межёнъ*, так же и в Новгородской, Владимирской, Псковской, Вологодской и некоторых других губерниях. В «Московских губернских ведомостях» (1856, № 66), в статье «О русских простонародных банях», рассказывается: «Веники режутся по деревням бабами на межёнях, то есть около времени летнего поворота солнца, когда полевые деревенские работы на неделю либо на две перемежаются». Жаркий день в пору ростопели на Псковщине — *растополица* (Даль). Осенний день без мороза в Томской области носит название *сухорос*: «Если сухорос, то ветер» (Словарь русских старожильческих говоров Средней части бассейна реки Оби. Томск, 1967).

Время с утра до ночи в Пермской губернии обозначалось словом *дэвнесь*. В старой Олонецкой губернии понятие 'весь день, целый день' обозначалось сложной конструкцией, трудно объяснимой с точки зрения русской грамматики, *дни на через*: «Он лежит дни на через как падина. Она ходит дни на через из избы в избу» (Опыт областного великорусского словаря. СПб., 1852),

В Рязанской области говорят *повесьдёнень*, *весьдёнкой*, *повесьдённо* (Словарь д. Деулино); «А в субботу весьдеи-кой дошш»; «Лежат повесьденно у окна». В Иркутской области тот же смысл заключен в слове *водновыден*: «Я гыт [говорит] ваднавыден съездила. Ваднавыден и абыденкам гаварят». По наблюдению М. Л. Арутюняна, в Иркутской области изредка еще встречается в речи стариков существительное *обыденок* в значении 'один день, весь день' (см.: «Груды Иркутского университета». Т. 53, вып. 3, 1967). Слово *обыденок* и его варианты *обыдни*, *обыдень* (новгородское), *овыдень* (пермское, вологодское), *объденье* (новгородское) отмечены в Словаре Даля; там же — наречия *обыденно*, *обыденкой*, *обыденком*, *обыденьем* — 'в течение одного дня или суток'. *Сутурицины* и *сутырицины* (вятское, пермское) — будень, будни; вероятно, рабочий светлый день (Даль).

Трудовым дням — будням, «забудням» — противостоят праздники. «Примечай будни, а праздники сами придут», — говорят в народе. Ведь праздники памяты, а будни забывчивы. «Ленивому будень чем не праздник» (поговорка). Свободный от работы, досужий день — *гулящий день* (псковское): «Ни на буднях, ни в гулящий день покоя нет» (запись В. И. Максимова, 1956). В старой Воронежской губернии отмечен вариант *гулячий день*, в Псковской и Смоленской — *гулявый день*, в Тверской области — *гуляный день*. Выходной день в Свердловской области кое-где именуют *гулёва*: «Скоро гулёва у меня». Дневной перерыв во время рыбной ловли на Урале и в других местах называется *дневка*: «Один день ловили рыбу, другой отдыхали, то есть была дневка».

Есть, кроме того, множество названий определенных дней, связанных с теми или иными датами народного календаря: *таусень* — Васильев вечер, канун Нового года; *заревница* или *зарёвницы* — день святой Феклы, 24 сентября («На заревницу хозяину хлеба ворошок, а молотильщикам каши горшок». Даль); *егорий* — *ленйва* — *соха* (нижегородское — день 23 апреля; *запрягальник* — *ярмник* — день пророка Иеремии, 1 мая, начало пашни, и т. д. Однако подобные названия отдельных дней — особая большая тема, которая может быть предметом специального исследования.

Н. В. ПОПОВА

См. статьи того же автора о словах *утро*, *день*, *вечер*, *ночь* в нашем журнале (1970, № 3—6)

Грузин, осетин, лезгин



В современных русских этнических названиях выделяется немногочисленная группа производных, образованных при помощи суффикса *-ин*: болгарин, татарин, грузин, осетин, лезгин и др. Множественное число от них образуется по-разному: от слов *грузин*, *осетин*, *лезгин* — с сохранением суффикса *-ин*, от *болгарин*, *татарин* — без суффикса. Это различие можно объяснить, только обратившись к истории языка.

В древности для обозначения народов и племен служили непроизводные собирательные наименования: Русь, Чудь, Литва. а для обозначения одного человека — представителя народа или племени использовались производные слова с суффиксом *-ин*: русин, чудин, литвин. Собирательное имя народа в смысловом отношении представлялось исходным понятием, название отдельного лица — вторичным. В ходе исторического развития языка смысловая и словообразовательная связь между собирательными названиями и производными с суффиксом *-ин* постепенно утратилась.

Однако одна из древних особенностей этих отношений все же сохранилась. Речь идет о том, что суффикс *-ин*, характеризующий единственное число, во множественном не появляется: болгарин — болгары, татарин — татары. Это объясняется первоначальным назначением суффикса *-ин* — указывать на единичное, отдельное лицо. По происхождению суффикс *-ин* восходит к общеславянскому количественному числительному *инъ*, которое в старославянском и древнерусском языках было лишено самостоятельного употребления и представлено только формами *един* и *один*. Корень числительного *инъ* сохранился в этих языках лишь в составе некоторых сложных слов — *инорогъ* — мифическое существо с единственным рогом на лбу, *иногда* — в значении 'однажды', например: «Прииде иногда къ Пасию нѣкто от старецъ» (Однажды к Пасию пришел

кто-то из старцев), в слове *инокъ* 'монах' (буквально 'одинокий'). Кроме того, *-инъ* в этих языках было словообразовательным суффиксом, обозначающим единичное лицо, соотносимое с целым коллективом: *русин* 'один из Руси'. Поэтому его называют суффиксом единичности, или сингулятивным.

Сингулятивный суффикс *-ин* в современном русском языке широко употребляется в словах типа *горошина*, *картофелина*, *градина* (ср. также в говорах *заборина* 'одно бревно в заборе', *потолочина* 'одна доска на потолке' и т. п.). Значение единичности в этих словах создается соотношением: *картофель* — *картофелина*, *град* — *градина* и т. д., где слова *картофель*, *град* выражают понятие нерасчлененного множества.

В обозначении народа и отдельных лиц подобные связи между производящим и производным словами давно утратились. Причиной нарушения древнего отношения «собираемость — единичность», очевидно, было расширение значения этнических наименований Русь, Литва и т. п., которые очень рано стали обозначать не только сами народы, но и населенные ими территории. Поэтому производные существительные *русин*, *чудин*, *литвин* тоже стали употребляться в значении 'житель страны'. С течением времени в них возобладало именно географическое значение: 'один из Руси' отошло на задний план, уступив значению 'рожденный или живущий на Руси'. Можно думать, что указание на место жительства или происхождение лица получило особую актуальность в эпоху феодальной раздробленности, когда географическая характеристика людей была важнее этнической.

Употребляемые для обозначения лица названия на *-ин* вступали в словообразовательные отношения с названиями, образованными при помощи суффиксов *-ец*, *-анин*, *-итин* и др. и имевшими формы множественного числа. Под их влиянием слова на *-ин* тоже начали употребляться в соотносительных парах с названиями множественного числа: греци — гречин, турци — турчин, черкасы — черкасин. Грядом с *-ин* употреблялись варианты с другими суффиксами: гречин и гречанин, турчин и турчанин, черкасин и черкашенин. В памятниках письменности нередки случаи употребления обоих вариантов в одном и том же предложении: «Бил об одном любчине, чтоб государь пожаловал, отпустил того любчанина» (1517).

Формы на *-ин* характерны для летописей, в актовых памятниках они представлены как варианты с оттенком архаичности. Принимая во внимание то, что в деловой письменности народно-разговорный язык отражен более полно, чем в летописях, можно сделать вывод, что слова с суффиксом *-ин* постепенно утрачивались в разговорном языке. Подтверждают это примеры из письменных памятников. Отмечены случаи «приращения» к *-ин* более продуктивного

суффикса названий жителей *-ец*: «того литвинца» (XVI в.); «С воеводою быть иноземцам: гречанам, полякам, литвинцам» (XVII в.); «Славяне поселились промеж эстландцами и финландцами при Балтийском море и оных мордвинцов и сибирцов» (В. Н. Татищев. История Российская. 1729). Распространенная русская фамилия Татаринцев говорит о возможности названия *татаринец*, которую в исследованных памятниках не довелось встретить.

Об архаизации форм с *-ин* свидетельствуют и отмеченные в памятниках случаи образования множественного числа от целой основы единственного, без ожидаемого опущения суффикса *-ин*: «Татаринцов с 50 молодых людей изымали» (XV в.); «Едут с тобой три литвины» (XV в.); «Триста татаринцов, четыреста бухаринов, пятьсот черкашенинов» (Древние российские стихотворения, изданные Киришей Даниловым). Такую же форму использовал Пушкин в переводе из Мицкевича: «Три у Будрысы сына, как и он, три литвина...».

Приведенные примеры говорят об окончательном разрыве названий людей на *-ин* с древним значением единичности, соотношенной с собирательностью. Правда, множественное число типа *татаринцы* в русском языке не удержалось, а форма *литвины* ныне воспринимается как архаичная. Суффикс *-ин* в современном языке, как правило, во множественном числе не появляется. Однако наименования *грузины*, *осетины*, *лезгины* этому правилу не подчиняются.

Поиски причин этого любопытного явления ведут в глубь веков. В древнерусском языке для обозначения страны, области, занятой каким-либо народом, употреблялось сочетание прилагательного, образованного от основы этнического названия, со словом *земля*: Аглинская земля, Голанская земля, Грузинская земля. Соответствующие названия людей образовывались от основ прилагательных, входящих в состав описательного географического наименования. При этом суффикс *-ск-* в основу производного на *-ец* не входил: «Корабль аглинцы отпустили ... сказали, что тот корабль, поискав аглинских кораблей назад будет» (1580); «Пришел во царствующий град Москву грузинец Русакбек» (1625); «Приезд грузинского митрополита Епифания и грузинцов»; «Осетинец Осип Абаев на возвратном пути убит кабардинцами» (XVIII в.); «Пришли нечестивые босурманы лезгинцы» (XVIII в.); «Промеж Тарками и Дербенем живут лязгинцы» (XVIII в.).

Названия *грузинец* — *грузинцы*, *осетинец* — *осетинцы*, *лезгинец* — *лезгинцы*, образованные от основ прилагательных с помощью суффикса *-ец* и не имеющие в словообразовательном отношении ничего общего со словами типа *русин*, *литвин*, употреблялись на протяжении нескольких веков. Общий для тех и других форм эле-

мент *-ин* не был одним и тем же суффиксом: в названиях на *-ец* он восходит к суффиксу притяжательных прилагательных, впоследствии ставших относительными, а в *русин, литвин* он сингулятивный по происхождению. Кроме того, элемент *-ин-* в названиях *грузинец* и под. находится в середине слова, прикрытый суффиксом *-ец*.

В XVIII веке названия с *-ин* постепенно выходят из употребления, *-ец* расширяет сферу словообразовательной деятельности, однако именно в эту эпоху в русском языке возникли современные формы: *грузин* — *грузины*, *осетин* — *осетины*, *лезгин* — *лезгины*. Они стали появляться первоначально во множественном числе. Традиционные русские наименования *грузинец* — *грузинцы*, *осетинец* — *осетинцы*, *лезгинец* — *лезгинцы* постепенно утратили суффикс *-ец* и были заменены на бессуффиксные формы, ставшие литературной нормой. Разумеется, эта мена не происходила механически и в течение нескольких лет. Она затянулась до конца XIX века. В памятниках отмечены случаи параллельного употребления старых и новых форм: «Как хищники засели в домах и садах и производили из оных по грузинцам стрельбу, то я, опасаясь, чтоб не было грузинам причинено большого вреда, принужден был для наведения страха на хищников приказать сделать несколько выстрелов из пушки» (1801); «Узнать о числе домов или семейств в каждом селе обитающих: особо грузин, особо армян, особо татар, особо осетинцев» (1802).

Долгое время названия единственного числа с *-ец* употреблялись с новыми бессуффиксными формами множественного, в ходу были числовые пары: *грузинец* — *грузины*, *осетинец* — *осетины*, *лезгинец* — *лезгины* (ср. также: *башкирец* — *башкиры*). Лишь во второй половине XIX века закрепляется привычное в современном языке соотношение: *грузин* — *грузины* и т. п.

Возникновение бессуффиксных форм *грузин, осетин* вследствие утраты суффикса *-ец* может показаться невероятным на фоне многочисленных новообразований с *-ец*, появившихся в XVIII веке. Однако не всегда утрата того или иного суффикса в каких-либо словах предшествует падению его продуктивности. В данном случае утрата *-ец* была обусловлена не словообразовательными свойствами этого суффикса, а тем, что наименования нерусских людей в XVIII веке вообще освобождались от русских суффиксов. Этот процесс охватил широкий круг образований, обыкновенных в памятниках до XVIII века. В результате названия иностранцев и представителей иноязычных народов России претерпели большие преобразования. Обиходные в прошлом *гречин, гречанин, турчанин, кумычанин, французанин, черкешанин* и другие устарели и выпали из языка, заменившись либо самоназваниями, либо латинско-евро-

гейскими названиями: грек, турок, кумык, француз, черкес и т. д. (правда, некоторые их женские соответствия сохранили до сих пор свой архаический вид: гречанка, турчанка, французенка, черкешенка). Таким образом, появление бессуффиксных названий *грузин*, *осетин* вызвано было причинами не столько словообразовательного, сколько лексического порядка.

Архаизации традиционных русских названий *грузинец*, *осетинец* способствовало еще одно обстоятельство. Речь идет о замене в XVIII веке и позднее старых географических описательных имен типа Грузинская земля простым наименованием на *-ия*, возникшим под влиянием латино-европейского образца. Такие названия, как Англия, Грузия, Башкирия, Осетия, возможно, появлялись и ранее, но, судя по памятникам деловой письменности, широкоупотребительными они становились лишь начиная с XVIII века. Их появление влекло за собой утрату суффикса *-ец*, поскольку он присутствовал лишь в тех производных существительных, которые соответствовали основе географического названия с суффиксом прилагательного *-ск-*.

Современные *грузин*, *осетин* и т. п. можно считать бессуффиксными только с точки зрения исторического словообразования; для современного их положения такая характеристика неверна. Былая связь их с основами прилагательных перестала ощущаться, и в современном русском языке в них выделяется словообразовательный суффикс *-ин*, такой же, как в словах *болгарин*, *татарин*, хотя исторически это *-ин* восходит в одних названиях к сингулятивному суффиксу и к общеславянскому количественному числительному *инъ*, а в других — к притяжательному суффиксу *-ин*.

Кандидат филологических наук
А. А. АБДУЛЛАЕВ
Махачкала



Что читали древние?

Не та пшеница добра мнѣга, иже на добрѣ поли пожата, но таже полонана и на пицу оугодна ю. такоже и моужа расоудимз не ѿ славнаго рода, но ѿ нрака.

Не та пшеница считается хорошей, которая сжата на хорошем поле, а которая хорошо созрела и на пищу пригодна. Так и человека оценим не по знатному роду, а по нраву его (Пчела, л. 117).

Несколько забытых слов



ЗАСПА, НАСОП, УСПЫ, ПОСОП, ПОСПА

Есть интересное семейство старинных русских слов, имен существительных, производных от глагола *сыпать*, *сыпаться*, с одним и тем же корнем *-сп-*, *-сон-*: *заспа*, *насоп*, *успы*, *посоп*, *поспа*. Слово *заспа* существует и поныне в северных русских диалектах; *насоп* и *успы* исчезли из языка; слово *посоп* можно встретить лишь в составе географических названий, но смысл его забыт, а вот *поспа* — слово, сохранившееся в русском народном языке по сей день, но почему-то отсутствующее в словарях.

Что же означают эти слова?

В Архангельской и Вологодской областях можно и поныне услышать такие выражения: «Надо *заспы* кунить!»; «В магазине *заспу* дают!». *Заспа*, которую продают и покупают в магазинах, — это крупа. Любая крупа — гречневая, овсяная, ячменная (ячневая), пшено. «Мама, мама! Гли-ко! *Заспа* идет!» — говорит четырехлетняя девочка. Какая же крупа может идти? Да обычная, снежная крупа, крутой снег в осеннюю или весеннюю пору, когда на дворе ни зима, ни лето. И та и другая *заспа* — сыпучее тело, и корень слова *-сп-* принадлежит здесь глаголу *сыпать* или *сыпаться*.

У историка прошлого века С. М. Соловьева в «Истории России с древнейших времен» (т. 4) читаем: «Под 1535 годом псковский летописец говорит, что горожане его нарядили [в Москву] 500 пичальников, 3000 лошадей в телегах и человека на коне, 3000 четвертей овсяной заспы на толокно, 3000 полтей свинины, 3000 четвертей солоду, 360 четвертей гороху, столько же семени конопляного».

Насоп (родительный падеж — *наспу*) — старинное русское слово, тоже происходящее от глагола *сыпать*. Вот что пишет там же С. М. Соловьев: «Относительно займов в 1557 году царь [Иван Грозный] почел за нужное сделать следующее постановление: на слу-

жилых людях править [взыскивать] долги денежные и хлебные по кабалам [заемным письмам] и памятям и духовным грамотам [завещаниям] в продолжение пяти лет... истину [чистый долг без процентов], деньги без росту, а хлеб без наспу, разочтя на пять жребиев; по старым кабалам, по Рождество Христово 1557 года, все росты государь отставил. Но если служилые люди станут занимать деньги в рост или хлеб в наспы в эти правежные пять лет, и в урочные года в новых долгах не выплатятся, то вперед с Рождества Христова 1562 года новые долги на служилых людях править всю истину сполна, да кроме того деньги с половинным ростом (10 на 100) и хлеб с наспом».

Следовательно, *насоп* — это проценты за взятый займами хлеб в зерне, надбавка в долгу зерном. *Насоп* — хлеб в зерне, насыпанный сверх взятого в долг, сверх истины.

А что означает слово *ўсны* с тем же корнем?

В одной из берестяных грамот (№ 136), найденной в Новгороде при раскопках (1951—1963) и относящейся к XIV веку, говорится: «Се доконьдяху Мыслове дете Труфале з братьею давали уснов 6 коробей ржи да коробья пшеници, 3 солоду, дару 3 куници да пуд меду, детем по белки 3 и 3 горсти лену, боран, уновину». Мысловы дети, составившие эту грамоту, обязались платить некоему Труфалю натуральный оброк — «ўсны» — в размере шести коробей ржи, одной коробьи пшеницы, какого-то количества солоду. Кроме того, они платят «дар» — три куници и пуд меда, а детям Труфалю — три белки, три горсти льна, барана и желстину. Это оброк немалый: новгородская мера сыпучих тел XV века — коробья — весила 7 пудов или 115 кг (см.: В. Л. Янин. Я послал тебе бересту. М., 1965).

В крестьянской порядной записи 1586 года читаем: «Се порядились... на старое свое поседење [поселение] на успы по замолоту [после сбора урожая]» (см.: И. И. Срезневский. Материалы для Словаря древнерусского языка. Т. III).

Итак, в XIV — XVI веках *ўсны* называли оброк, подать натурой, подать хлебом в зерне, сыпучим хлебом.

Обратимся к слову *посоп*. В Пензенской области в Лунинском районе есть село с названием Посопная Пелетьма, а рядом, в Мордовской АССР, — село Посоп (Инзерский острог в XVII столетии), теперь пригород г. Саранска, столицы Мордовии.

В одном архивном документе 1682 года говорится о буртасах (народности, теперь исчезнувшей), которые поселились в Кадомском уезде (теперь — Тамбовской области). Здесь ими велись именные списки и ясачные (податные) книги, по которым они платили «ясак и посопный хлеб и медвяный оброк» (см.: А. Хвощев. Очерки по истории Пензенского края. Пенза, 1928). Ясак — это подать деньгами, медвяный оброк — подать медом, а посопный хлеб — по-

дать хлебом, рожью и пшеницей, гречихой, овсом, просом или пше-
ном, одним словом, сыпучим зерновым хлебом.

У И. И. Срезневского приводится цитата из Псковской I лето-
писи (под 1371 г.): «Приехав в Русу [г. Руска], оброки вся пограби
силою, а от Русы к рубежу едя, вся, поспу [родительный падеж от
посопн] и живот [имущество] и головы войной великою пограбив...
неизреченно шкоты [вреда, убытка] почини Новгородской волости».

В правящей грамоте Николо-Карельского монастыря (ныне
Архангельской области) в 1571 году записано: «не измогли есьмя
с той земли великого князя службы служити, и дани давати, и
хлеба посопного в житницу сыпать и всяких розрубов [долей по-
датей] — земских».

Итак, слово *посопн* означало сыпучий зерновой хлеб. Посопное
село — это село, жители которого платили подати не деньгами, а
зерновым, посопным хлебом; отсюда и названия сел: Посопн и По-
сопная Пелетьма. Кстати, Пелетьма — это и название реки. Слово
пелетьма — мордовское и состоит из двух слов: *пеле* 'половина' и
тьма — в данном случае 'низина, речная пойма'. Нижняя половина
реки Пелетьмы лежит в широкой речной пойме, где раскинулись
поля и растет зерновой хлеб. Этот «посопный» хлеб, постунавший
как подать с крестьян в амбары Московского государства XVII ве-
ка, шел здесь же, на месте, на уплату жалования натурой служи-
лым людям, которые стояли на охране оборонительной «черты»,
сооруженной в виде глубокого рва и вала, и лесных засек, ограж-
давших Русь XVII века от степных кочевников.

Есть еще одно старинное русское слово с корнем *-сп-*, существ-
ующее в народе до наших дней, — *поспа*. Это жидкая мучная бол-
тушка, заваренная на кипятке. В кипяток сыплют (именно сы-
плют!) муку или, чаще, отруби и размешивают веселкой. Получает-
ся клейкая, вкусно пахнущая хлебом жидкость, которой и поли-
вают, сдобривают соломенную резку для скота зимой. Если ее еще
и посолить сверху — язык проглотит корова! *Поспа* на муке идет
как основа раствора для меловой побелки стен и печей, они после
не пачкают одежды. Насыпая муку или отруби в кипяток, полу-
чают *поспу*. Непонятно только, почему слова этого нет в толковых
словарях современного русского языка. Слово-то литературное, об-
щепародное и живет по сей день. Не забыл его русский народ и в
поговорах: «*Поспа* не брага, сусло не мед».

На наших глазах выходит из употребления еще одно слово с
тем же корнем *-сп-*, на этот раз литературное и вписанное во все
словари, — слово *оспа*, и в том заслуга советских медиков, изгнав-
ших эту болезнь из нашей страны.

П. В. ЗИМИН
Пенза

Смородина и смрад



В современном русском литературном языке слова *смрад* и *смородина* ничем не связаны. Они далеки по значению: *смрад* — ‘отвратительный запах, зловоние’, *смородина* — ‘ягода’ и ‘растение, дающее такие ягоды’.

Между тем по происхождению это однокоренные слова. Родство их уходит в далекое прошлое, когда был единый праславянский корень *сморд-*, получивший затем в разных славянских языках различное звучание: в восточнославянском (древнерусском) языке, из которого впоследствии развились русский, украинский и белорусский, он стал звучать как *смород-*, в южнославянских — *смрад-*. Южнославянская неполногласная форма в числе многих других была усвоена древнерусским языком из старославянского церковно-книжным путем.

Слова с корнями *смрад-* и *смород-* имели в древнерусском языке одинаковые значения: *смрадъ* и *смородъ* — ‘зловоние’, *смраднѣй* и *смороднѣй* — ‘зловонный’. Но, как и все старославянские и восточнославянские параллельные формы, употреблялись они по-разному. Слова с неполногласием были свойственны письменному языку, главным образом произведениям на религиозные сюжеты. Слова с полногласием широко использовались в живой речи; употреблялись они в деловой и бытовой письменности и чаще, чем слова с корнем *смрад-*, встречались в летописях. Слово *смрадъ* употреблено в религиозном сочинении «Поучение архиепископа Луки Жидяты к братии» (XIII — XV вв.): «Оутро [завтра] боудемъ смрадъ и гной и червие», а *смраднѣй* — в «Путешествии игумена Даниила по святой земле» (начало XII в.): «Духъ зноинныи ... попадаеть землю ту зносемъ тѣмъ смраднѣмъ».

Смородъ известно в I Новгородской летописи (XIII—XIV вв.): «Конь [лошадей] мѣножьство помре, яко нълзѣ бѣше [так что нельзя было] дойти до тѣргоу [на торговую площадь] сквозѣ городъ ... ни на поле выйти смороды [из-за зловония]».

В более позднее время у слов с полногласным корнем появляется новое значение: смородина — ‘ягода’, сморodinный — ‘относящийся к ягоде смородине’. Это было еще в период общности восточнославянских языков, так как слово *смородина* есть не только в русском, но и в украинском языке. Прилагательное *смородыньный* встречается в памятнике XV века, посвященном торговой сделке — Купчей игумена Василия у Матвея и Самуила Назаровых: «По кустовью да на смородыньной кустъ».

Причиной употребления корня со значением ‘скверный запах, ‘зловоние’ в названии ягоды послужил резкий запах, свойственный черной смородине. Ягоде просто не повезло, когда она получила название, имеющее столь неприятные ассоциации, ведь ее запах не такой уж плохой. В русском языке название *смородина* относится не только к черной, но и к красной и белой смородине, которые, как известно, не отличаются сильным запахом. В украинском *смородина* — это лишь ‘черная смородина’, а красная и белая называются словом *порічки* (белорусское *парэчки* — название всех видов смородины).

Интересно, что и другие слова того же корня, существующие в украинском языке и в русских говорах, используются для обозначения пахучих растений (в украинском, например, ‘валериана’ называется *смердючка*, а в некоторых русских говорах — *смердянка*) или насекомых, издающих сильный запах (украинское *смердюх* — насекомое из семейства полужесткокрылых). Вспомним также древнерусское *смьрдъ* ‘смерд’, буквально ‘неприятно пахнущий’ — так называли представители власти крестьян. Во всех этих словах, как и в глаголе *смердеть*, представлен тот же корень, что и в *сморд* — *смород*, но с чередованием гласного с редуцированным гласным ъ, который затем перешел в е.

Надо сказать, что русские говоры более справедливы к ягоде смородине. В них существует много названий этой ягоды, не связанных с ее запахом: кисленица, кислянка, княженица, княжиха, лядуница, сестреница, тюхтя, таракушка и др.

Первоначально связь слов *смрадъ* и *смородина* ощущалась достаточно отчетливо, но позднее, когда в русском литературном языке *смород* 'зловоние' становится все менее употребительным, а потом и вовсе утрачивается, *смрад* и *смородина* все больше отдаляются друг от друга. Однако в других восточнославянских языках судьба слов *смрад* и *смородина* сложилась иначе.

В украинском и белорусском языках слова этого корня с полногласием сохраняются до сих пор. Так, в украинском наряду с названием ягоды *смородина* и его производными употребляются слова *сморід* 'вонь' (с фонетическим переходом звука *o* в *i*), *смородь* 'смрад, вонь', *смородливий* 'смрадный', *смородливість* 'смрадность'; в белорусском — *смурод* 'вонь, смрад', *смуродзіць* 'вонять', *смуроднасць* 'зловоние', *смуродны* 'вонючий', 'зловонный'. Они сосуществовали в этих языках не с южнославянскими по происхождению неполногласными образованиями, как в русском языке, а с западнославянскими формами на *смрод-*, пришедшими сюда из польского языка: в белорусском *смрод*, *смродзіць*, *смродно*, в украинском — *смрід*. Западнославянские формы слов этого корня встречаются также в некоторых западных русских диалектах. В 1961 году в одном из псковских говоров было записано *смрод* в значении 'плохой, испорченный воздух': «В городе смрод один». Западнославянские формы в украинском и белорусском языках менее устойчивы, чем южнославянские в русском, в XX веке они вытесняются исконными полногласными.

Слова с полногласным корнем в таком значении в русском языке сохраняются только в диалектах, где можно обнаружить и в наше время употребление *смород*, большей частью со значением 'запах от пригорелого, паленого'. Псковские крестьяне на вопрос, что такое *смород*, отвечают: «Смород — когда поросят палят»; «Смород — льняное масло горит»; «Насмородил целую комнату — сало горит». В XIX и начале XX века в диалектах употреблялось больше слов этого круга: смородить, смородливый, смородный, смородовать, смородь и т. п., в том числе и *смородина* 'сильный запах гнили'. Такие слова в XIX веке отмечались еще и в словарях литературного языка, но в письменном языке они почти не встречаются уже в XVIII веке.

Наоборот, слова с неполногласием в русских говорах, в отличие от литературного языка, почти не употребляются

ся (лишь однажды, в 1900 году, в Тульской губернии было записано слово *смрад* в значении 'испорченный воздух'). И дело здесь не в том, что неполногласные формы вообще чужды русским говорам, как считалось до недавнего времени. Теперь известно, что слова с неполногласием употребляются в русских говорах во многих случаях. Больше того, подчас они получают здесь новые значения и дают новые производные. Отсутствие в диалектах неполногласных форм с корнем *смрад-* объясняется, по-видимому, теми же причинами, что и исчезновение из русского литературного языка слов с корнем *смород-*, обозначающих запахи. Причины эти связаны с сужением значения и сферы употребления тех и других.

С древности слова с корнями *смрад-* и *смород-* используются в письменном языке для обозначения немногих видов запахов: ими обозначается запах чего-либо гниющего или горящего. Кроме того, *смрад* обозначает запах табака. *Смород* постепенно все более сужается в значении и, перед тем как окончательно выпасть из литературного языка, обозначает лишь запах чего-либо пригорелого, паленого (что соответствует его современному применению в говорах). Такое узкое употребление делает их менее жизнеспособными, чем другие слова, обозначающие запахи, которые могли применяться к самым разным запахам. Древнерусское *воня* могло обозначать запах и дурной и хороший (позднее *вонь* — только 'дурной запах', но без каких-либо других ограничений в употреблении). То же можно сказать про слова *запах* и *дух*. Сохраняющаяся в современном русском литературном языке неполногласная форма *смрад* применяется очень ограниченно и потому, видимо, мало жизнеспособна. Неудивительно, что в говорах она почти неизвестна. Все меньше используется здесь и полногласная форма *смород*. В диалектах для обозначения запахов гораздо шире применяются слова с другими корнями — *дух*, *вонь*, *запах*, даже в тех случаях, когда ситуация не противоречит использованию слова *смрад* или *смород*: «Ладаном окуривают покойника, дух нехороший отгоняют» и «Когда весною березка липки раскидывает, дух сладкий идет» (записано в псковских говорах). Широко употребляются в диалектах также слова *вонять*, *вонючий*, *пахнуть*, *пахнучий* и т. п.

Сходную судьбу со словами *смрад-*, *смород-* имеет слово того же корня *смердеть* 'плохо пахнуть, вонять'. С древности оно употреблялось в том же значении, что и слова *смо-*

род-, *сморд-*. В памятнике церковной письменности Минее (1097) читаем: «Двоу ногыбающеу и вьврженоу въ смърдящїи въ гробъ». Кроме того, оно ограничено и стилистически — его используют преимущественно памятники высокого стиля. Книжная окраска сохраняется у этого слова до нашего времени. В некоторых современных говорах оно имеет очень определенное значение, четко соотносящееся со значениями других слов, обозначающих запахи: «Покойник так он смердит, а лук воняет, духам [духами] пахнет». Иногда оно применяется только по отношению к некоторым предметам, издающим неприятный запах при горении. Часто слово *смердеть* связывается в говорах с церковной и древне-книжной фразеологией, остающейся в памяти носителей современных диалектов еще с дореволюционного времени, когда такие обороты попадали в речь жителей деревни при обучении в церковно-приходских школах, а у старообрядцев и из древних церковных книг.

Известный языковед В. И. Чернышев записал в 1910 году в говоре Юрьевского уезда Владимирской губернии (позднее отмечено в Мещовском уезде Калужской губернии) сочетание *пес смердящий*, используемое как ругательство по отношению к курильщикам. Это сочетание часто используется в древних памятниках, в нем имеется причастная форма, характерная для книжного языка. Впрочем, говорам известны и русские формы этого слова с суффиксом *-уч*, *-яч*: «Не буду я это смердучее лекарство пить» (русский говор в Литовской ССР), «смердячий» (опадали — в южных и западных говорах).

Таким образом, слова с корнями *смород-*, *сморд-*, *смерд-* в древних значениях все менее употребительны в русском языке. Это обусловлено не столько процессами стилистического размежевания или вытеснения одной из форм, какие характерны обычно в русском языке для параллельных полногласных и неполногласных образований, сколько причинами, связанными со значением этих слов. В результате они полностью расходятся в значении со словом *смородина*, что уже произошло в литературном языке и происходит теперь в говорах.

До сих пор существуют говоры, в которых сохраняется связь по значению слов *смородина* и *смород* 'запах'. В говоре села Ермаковского Шушенского района Красноярского края употребляются *смород* 'чад от горящего жира', *смородина* 'ягода черная смородина', *кислица* 'красная

смородина², и, по-видимому, здесь название черной смородины, иное, чем у красной, связывается еще с ее запахом. Вместе с тем во многих диалектах, где употребляются слово *смородина* и его производные, иногда отсутствующие в литературном языке (смородка, смородье, смородный и др.), связь этого слова со *смород* 'дурной запах' уже не ощущается, как и в литературном языке. *Смород* в таком значении в большинстве говоров уже утрачено. Если в одном из говоров Рыбинского уезда Ярославской губернии в 1910 году было записано прилагательное *смородный* в значениях 'смородинный' и 'смрадный', то приблизительно в это же время известный этимолог А. Г. Преображенский отмечал отсутствие в родном для него говоре села Заулья Севского уезда Орловской губернии слов на *смород-* в значении 'плохой запах, вонь'.

В таких случаях *смородина*, как и в литературном языке, становится изолированным от слов со значением 'запах'. При этом оно может переосмыслиться. Так, Преображенский записывает в значении 'смородина' слово *самородина* 'ягода, родящаяся сама'. Появление корня *самород-* сначала было вызвано фонетическими причинами: *a* — вставной гласный, появляющийся между согласными и характерный для некоторых слов в говорах юго-восточной диалектной зоны: *пашено* 'пшено', *пашеница* 'пшеница'. Позднее, когда связь слова *смородина* с корнем *смород-* окончательно забывается, форма *самородина* получает вторичное осмысление. Такая же народная этимология преобразует слово *смородина* в *самородина* и в говоре деревни Деулино Рязанской области (см.: Словарь современного русского народного говора. М., 1969), в котором тоже нет слова *смород* 'плохой запах, вонь', зато есть прилагательное *самородный* 'естественный, природный': «У него кудри самородные».

О. Г. ПОРОХОВА
Ленинград

*По просьбе читателей
со следующего номера мы начинаем печатать
Словарь произношения и ударения.
В словарь войдет много слов и форм, которых нет
в справочниках по ударению и произношению.*

Шишимора и его «родственники»



В лексикологических исследованиях иногда встречается утверждение, что разговорно-бытовое слово *кикимора* и областное *шишимора* в смысловом отношении одно и то же, что второе возникло из первого. Так, в статье Т. Н. Семеновой в сборнике «Вопросы теории и методики изучения русского языка» (Чебоксары, 1962) читаем: «*шишимора* (из *кикимора*)».

Такой взгляд сложился, по-видимому, не без влияния толкований этих слов в наиболее известных и авторитетных словарях русского языка. В Толковом словаре В. И. Даля приведено следующее объяснение; «*Шишимора* муж., восточное *кикимора*». Такое же отождествление слов (по стандартной формуле «*шишимора* — 1) то же, что *кикимора*») мы находим в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова и в 17-томном «Словаре современного русского литературного языка».

Магическая сила этих определений вызвала смещение двух планов — семантического и этимологического. Толкование значения слова путем равноценной замены было воспринято как указание на его происхождение. Неменьшую роль играло здесь и сходство разбираемых слов по составу: в обоих есть общая часть *-мора*, которая и определяет их смысловую близость.

По единодушному мнению этимологов, элемент *-мора* имеет общеславянское происхождение. По своему значению и происхождению он связан в основном с суеверными представлениями людей: старославянское *мора* 'ведьма', украинское *мора* 'нечистый дух', сербскохорватское *мдра*

‘домовой’, ‘кошмар’, болгарское *морá*, *морава* ‘ночной кошмар’, чешское *mřga* ‘кикимора’, ‘кошмар’, ‘ночная бабочка’, словенское *mřga* ‘ночной кошмар’, польское *moга*, *zmoга* ‘кошмар’ и т. п. У этого слова есть соответствия и в других индоевропейских языках: древнеанглийское и древневерхненемецкое *maга* ‘кошмар’, ‘привидение’, древнесеверогерманское *maга* ‘домовой’, ‘злой дух, мучающий во сне’, нижненемецкое *maht* ‘домовой’, ирландское *mo-gáin* ‘королева духов’.

Труднее объяснить происхождение первой части упомянутых слов. Ни *кики-*, ни *шиши-*, в этимологических разысканиях до сих пор не получили удовлетворительного освещения. Наиболее вероятно предположение, что *шиши-* в сложном слове *шишимора* непосредственно связано с северновеликорусским *шиш*: «1) домовый, бес, нечистый дух, черт; 2) пустой человек, шатун, бродяга, шеромыга; 3) вор» (определения приведены из «Опыта областного великорусского словаря»).

Даль предполагал, что *шишимора* происходит от *шиш* и *мара*, *морока*. По свидетельству его Толкового словаря, *шиш* в севернорусских говорах было довольно широко распространено и выступало в виде словообразовательных вариантов: «*Шиш*, или *шишига*, *шишиган*, нечистый, сатана, бес; злой кикимора или домовый, нечистая сила, которого обычно поселяют в овине; овиный домовый. *Шушига свадьбу играет*, чертова свадьба, вихрем пыль по дороге подняло столбом. *Шушига его смугил*. *Шуши его знают!* черти. *Хмельные шуши*, опойная горячка, когда грезятся чертенята. *Шушига*, вятское *шиш*, праздный шалопаи». Из севернорусских диалектов слово это проникло в некоторые финно-угорские языки и их наречия. В коми-зырянских диалектах *шыш* значит ‘черт, леший’ и ‘бродяга, праздношатающийся’.

В лексике других славянских языков и диалектов слово *шиш* отсутствует. Оно встречается лишь в некоторых польских письменных памятниках XVII века, но совершенно в ином значении: ‘партизан, представитель русской вольницы, действовавшей против интервентов под Москвой в начале XVII века’. У М. Н. Загоскина в романе «Юрий Милославский» к слову *шиши* дано следующее примечание: «Так называли поляки буйные толпы не подчиненных никакому порядку русских партизанов или охотников, которых можно уподобить испанским гверильясам». Интересна также запись в дневнике Сапеги 1610

года: «Вышли шиши из Москвы, громя наших на дорогах» (с примечанием: «Шишами в ту пору звали в Москве партизанские охотничьи отряды»).

В результате «обратного заимствования» слово это начиная с XVII века приобретает более широкое распространение в памятниках русской письменности в новом значении — ‘вор, грабитель, разбойник, головорез’, а с 30-х годов к ним добавляется еще одно, ранее не известное — ‘шпион, лазутчик, соглядатай’. Нетрудно заметить, что отрицательная экспрессивная окраска почти постоянно сопровождает это слово, независимо от сферы его употребления — в областных говорах или в памятниках письменности.

Несколько иной путь проделало существительное *шишимора* — слово чисто русского происхождения. В областных говорах основное значение его — «домовой дух, занимающийся прядением, по суеверию народному. *Нижегородское*» (Опыт областного великорусского словаря). Оно было отчасти синонимично разговорному *кикимора* в его первичном значении — ‘нечистая сила, ведьма, злой дух’. В переносном употреблении оно применялось к людям, чаще в отрицательном смысле. По данным «Опыта областного великорусского словаря» и «Дополнения» к нему (1858), им обозначались: «1) Прилежный, деловой, работающий человек. *Вятское*. 2) Скупец. 3) Голяк. *Псковское*. *Тверское*».

Кроме такой пестроты значений, в говорах отмечены разные родовые формы этого слова. В тех же словарях: *шишимор* (муж. рода) — «1) Шинкар, обманщик, плут. *Курское*. 2) Привидение в виде белого старика. *Саратовское* и *шишиморка* (жен. рода) — 1) Женщина, промышленяющая обманом. 2) Занимающаяся выведыванием и передачей сплетней. *Курское*». Основной, наиболее распространенный вариант *шишимора* стал употребляться в разговорно-бытовой речи как существительное общего рода.

В современном русском языке слово *шишимора*, развивая новые значения, которые становятся более широко известными, выходит за рамки отдельных говоров. Уже в академическом Словаре 1847 года с пометой «простонародное речение» оно приведено в двух основных значениях: ‘мошенник, промышленяющий воровством и обманом’ и ‘фискал, подслушивальщик, подсмотрщик’.

В разговорно-бытовой речи последующих лет и в наше время слова *шишига* и *шишимора* употребляются пре-

имущественно в бранном смысле: «Поди же, вчера на службу поступил, а сегодня — барышню поглядеть давай ему!.. Ах ты, шишимора!» (Погосский. Майорская дочка); «И что за разбойник! Так, воришка, шишимора!» (Загошкин. Кузьма Рощин); «Не ори ты, шишига!» (Гладков. Энергия); «В леса к себе хочешь его заманить, лесная шишига!» (Злобин. Степан Разин).

И. Т. СЕРГЕЕВ
Чебоксары

В о р



История слова *вор* необыкновенно сложна, запутана и вместе с тем интересна. *Вор* и производные от него *воровать*, *воровской*, *воровство* и др., появившиеся в памятниках письменности только в XVI веке, в период так называемого Смутного времени становятся вдруг необычайно активными словами. В слове *вор* на первый план выдвигаются значения ‘смутьян’, ‘бунтовщик’, ‘изменник’ и ‘самозванец’. *Воровством* именуется в то время ‘измена’, *воровать* означало ‘изменять’: «Комаричане мужики смутились и своровали, Государю изменили»; «Чтобы воры Государевы изменники Государеву делу порухи не учинили»; «Беляне посадские люди своровали, вору крестъ целовали и городъ сдали»; «А прежнего воровства их не было, с литовскими людьми не сходилися и нам то слух и ведамо есть» (примеры из книг: Акты исторические. Т. 2. СПб., 1841—1842; Ю. В. Готье. Памятники обороны Смоленщины 1609—1611 гг., М., 1912).

Именно потому, что в Смутное время на первый план выступало значение ‘бунтовщик, изменник’, другие значения слова оказались как бы в тени. Вместе с тем уже в конце XVI, начале XVII века *вор* (как и его производ-

ные) выступает в других значениях. Это и 'своевольник, самовольный человек', 'ослушник'; 'крамольник' и 'плут', 'обманщик' и 'уголовный преступник — тать, грабитель, разбойник, убийца, поджигатель', и 'клеветник', 'развратник', 'скандалист'. А. П. Евгеньева в статье «История слова *вор* в русском языке» отмечает в этом слове также широкое значение 'враг' («Ученые записки ЛГПИ имени Герцена». Т. 20. Л., 1939).

Универсальность значения слова *вор* в XVII веке с предельной ясностью видна в следующем диалоге из комедии о Юдифи, относящейся к этому времени:

«Сусаким. Простите же мя вы, девять художеств, яже шлоти моей угождаете: пьянство, блудодеяние, убивство, костарничество [игра в кости], оболгание, обманство, крадежество, разбойство и мошенничество.

Ваня. О ты злоокаянная вор! Всех ли тех художеств научен еси?»

На протяжении всего XVII века, иногда и в XVIII веке, в слове продолжают сохраняться значения 'бунтовщик', 'смутьян', 'изменник', 'самозванец', но они всплывают обычно в период обострения социальных отношений, в эпоху крестьянских восстаний. С соответствующими значениями продолжают употребляться в это время и слова *воровать*, *воровской*, *воровство*: «А которые, государь, воры дворцовые крестьяне и монастырские и детей боярских смутные воровские речи говорят по-прежнему... И тех, государь, воров велели мы, холопи твои, у съезжие избы бить кнутом... чтоб, государь, на то смотря иные воры от воровства унялися и смутных затейных воровских непристойных слов не говорили... чтоб воровство вывести» (Тихомиров. Документы земского собора 1650 г.). Активным становится *вор* 'смутьян', 'бунтовщик', 'самозванец' в период крестьянской войны под предводительством Степана Разина.

Однако во второй половине XVII века *вор* 'изменник' употребляется все реже и реже. Постепенное вытеснение этого значения связано с тем, что в русском литературном языке больше права завоевывает четкое и определенное по своему смыслу слово *изменник*. Необыкновенно расплывчатое и многозначное слово *вор* используется теперь чаще как название уголовного преступника.

Но и в XVIII веке, в годы движения Е. И. Пугачева, слово *вор* снова активизируется в значениях 'бунтовщик, самозванец', но употребляется прежде всего в официаль-

ном языке, по-видимому, уже как дань отживающей общественно-политической терминологии (см. об этом: П. Я. Черных. Очерк русской исторической лексикологии. М., 1956). Вспомним, что и в «Капитанской дочке» Пушкина капитан Миронов называет Пугачева *вором*, — деталь, вполне соответствующая словоупотреблению той эпохи.

В небольшой статье невозможно не только проанализировать, но и проиллюстрировать все перечисленные выше значения слова *вор* и производных от него. Мы остановимся только на одном из них, как нам кажется, наиболее общем, широком и как бы объединяющем в себе указанные значения, — «своевольник, самовольный человек, ослушник».

В памятниках письменности конца XVI века нередко упоминаются о так называемых *воровских казаках*, *ворах казаках*, чинивших беспорядки в русских окраинных областях. Это были вольные люди, которые то служили царю, то снова вели свободный образ жизни, занимаясь набегами, разбоем и грабежами. Усмиряли их по царскому поручению тоже казаки, но, в противоположность воровским, служилые. В одном из документов 1591 года читаем: «И тихо будетъ на Волге отъ Крымскихъ и отъ Ногайскихъ людей и отъ казаковъ отъ воровъ и отъ Черкасъ». Вот еще пример: «Да у нихъ же деи онъ поймалъ трехъ человекъ, казаковъ воровъ... да его же деи послали... за воровскими атаманы и казаки; а въ роспросе имъ сказали, что воровские казаки и Черкасы разошлись... пошли на Алатырские и на Темниковские места Мордовскихъ... грабить... а иные казаки разошлись по речкамъ: и они... посылали искати воровскихъ казаковъ по речкамъ» (Акты исторические, т. 1). Служилые казаки могли стать воровскими, воровские — служилыми.

Примерно в это же время мы обнаруживаем в памятниках письменности и слова *воровать* в значении «своевольничать, ослушаться»; *воровство* — «самовольство, ослушание»: «По Государеву наказу велено ему вести Василья Романова, а ковати его не велено, и онъ Иванъ по чему такъ воровалъ, мимо Государева наказу велъ его скована и на чепи и отдалъ его толко чемъ жива Смирнову Маматову?»; «А о всемъ бы еси къ нимъ береженье держалъ по нашему прежнему указу, а не такъ бы еси делалъ, что писалъ прежь сего, что яиць съ молокомъ даешь не отъ велика; то ты делалъ своимъ воровствомъ и хитро-

стью, по нашему указу велено тебе давать имъ еству и питье во всемъ доволно» (Акты исторические, т. 2).

Наш перевод *вор*, *воровские* как 'своевольник', 'своевольные, самовольные' основан не только на определенной трактовке исторических фактов, имевших место в Московском государстве конца XVI века, не только на соответственных значениях слов *воровать*, *воровство* в памятниках этого периода. Более серьезные основания для такого толкования слов *воры*, *воровские казаки* можно найти, сопоставив русские грамоты конца XVI века с грамотами польско-литовскими, относящимися к территории нынешней Белоруссии. В старобелорусских документах *вор* и его производные встречаются довольно редко, обычно лишь в случаях, когда авторы этих документов отвечают непосредственно на вопросы о воровских людях, поставленные в русских «листах» (письмах). Как правило, на месте русских *вор*, *воровской* мы обнаруживаем здесь слова *своволник*, *своволный*. Например, в одном из актов 1597 года упоминаются «своволные казаки, совершающие такие же деяния, что и русские *воровские казаки* (см.: Акты Западной России. СПб., 1851, документ 1597 года).

Еще более показательны примеры из памятников начала XVII века, где на месте русских слов *воровские*, *воровство* употреблены западнорусские *своволные*, *самовольство*: «А брань деи у князя Юрья съ Яномъ была за то, что Янъ Сапега королевскихъ листовъ не послушалъ, пошолъ въ твою Государеву землю воровствомъ, безъ королевского ведома» (Акты исторические, т. 2). Значение слова *воровство* в этом тексте предельно ясно — 'самовольство'. Оно подтверждается и переводом слова *воровство* в листе (письме) оршанского старосты Сапеги: «А знаемучи, естли то такъ есть, же то оне делаютъ самовольствомъ надъ заказомъ его королевские милости» (там же, документ 1608 года). В другом своем «листе» в ответ на жалобу на «воровских литовских людей», самовольно нарушивших перемирие и грабивших пограничные волости, оршанский староста пишет: «И до всехъ насъ украинскихъ старостовъ есть такое розказанье отъ его Королевской Милости ... абы есми перемирье постерегали, ничимъ его не нарушали, и людей своволныхъ за границу не пропускали: нижъли тыхъ людей своволныхъ погамовати [сдержать] и унять не можемъ». *Своволные* люди именуются в этой грамоте также *неслушными*. Таким образом, употребленное в русской грамоте выражение *во-*

ровские люди Сапега заменяет в ответном «листе» словосочетанием *свовольные люди*.

Интересно также сопоставить более поздние русские грамоты с документами, написанными на территории Юго-Западной Руси, где слово *вор* не было распространено и проникало в письменность только под влиянием деловых документов из Центральной России. *Воры черкасы, воровские казаки* в юго-западных грамотах называются *самовольниками, своевольными*, а *воровство* — *самовольством*: «Татарове съ своевольниками съ козаками» (Акты Юго-Западной России); «А самовольникомъ де Черкасомъ и за Порогами не быть было; и оне де Черкасы не похотели быть подъ панскою справою [властью] и учинилися самовольны по-прежнему, и по городомъ урядниковъ и ляховъ и Жидовъ побивали и грабили... за то де ихъ Черкасъ и побиваютъ Поляки, а не за веру, и хотять де за то и достолныхъ вывестъ, чтобъ у нихъ самовольниковъ не было. И говорилъ де имъ тотъ Станиславъ Потоцкой: побиваютъ де оне казаковъ за самовольство, а не за веру»; «А къ Богдану Хмельницкому собралися въ полки многие люди своевольные и пашенные мужики, побивъ пановъ своихъ въ ихъ маетностяхъ [именияхъ]» (там же).

В некоторых случаях в юго-западных грамотах обнаруживаем и слово *воры*, синонимичное *своевольники, самовольные*: «Воровъ або якихъ — кольвекъ [каких бы то ни было] свовольныхъ людей вашихъ съ земли нашей, до васъ ... посылати обещуемъ». В юго-западных грамотах того же времени казаки, примкнувшие к Хмельницкому, названы *своевольниками*, а сам Хмельницкий именуется то *вором*, то *своевольным казаком*, то *здрайцом* (изменником): «Еще же и ... тебе вестъ даю ... что никакая часть ... своевольниковъ козаковъ Черкасцовъ избегли на Запороже, а старшимъ у них простый холопъ, нарицаеться Хмельницкий ... и я съ ним [с гетманом Краковским] ... о томъ вори промышлять будемъ»; «аще бы зъ Запорожа збежалъ Хмельницкий, козакъ своевольный, на Донъ... надобно зимать его, какъ здрайцовъ обоихъ великихъ господствъ».

В древнерусском языке слово *самовольный* имело, кроме современного значения, также значения 'вольный, свободный', 'самостоятельный, ни от кого не зависящий' (см.: «Материалы для Словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского), поэтому становится понятным употребление выражения *самовольные* (своевольные)

казаки наряду с сочетанием *воровские казаки* для обозначения мятежного, непокорного казачества.

Наши наблюдения делают вероятным предположение о первичности значения 'самовольный, вольный, своевольник' в слове *вор*. Именно это значение обусловило развитие в Смутное время значения 'смутьян, бунтовщик, изменник'. Остальные значения развились также, по-видимому, на почве значения 'самовольник'. Характерно, что само это значение более или менее отчетливо выступает в слове *вор* в конце XVI — первой половине XVII века. В последующие десятилетия XVII века оно уже растворяется в других значениях этого необыкновенно сложного по своему смыслу слова. То же относится и к производным *воровать, воровской, воровство*.

Примечательно, что в некоторых современных русских говорах частично сохраняется древнее значение *вор* в производном от него *ворюга*. Так, в поселке Гнездове Смоленского района *ворюгой* иногда называют непослушного, отбившегося от рук мальчишку; в Ярцевском районе Смоленской области так именуют одновременно и вора и ослушника: «Не удался сын: ворюга, неслух». С таким же значением встречается это слово и в Брянской области.

Не останавливаясь подробно на развитии современного значения *вор*, отметим только, что оно присутствовало в этом слове уже с конца XVI века. Значение 'тать, грабитель' становится преобладающим, пожалуй, только в XVIII веке, когда происходит сужение значения этого слова. Постепенно *вор, воровство* сводятся к обозначению прежде всего понятий, связанных с кражей, грабежом и мошенничеством. Вытесняются из употребления слова *тать, татьба*, так как *вор* и *воровство* в этом значении становятся активнее, употребительнее. Указом 1781 года термины *тать, татьба* были изгнаны из юридических документов, а вместо них узаконены *вор, воровство*, причем термин *воровство* обозначает три вида преступлений — кражу, мошенничество, грабеж. Окончательное сужение терминов *вор, воровство* происходит уже позднее XVIII века. Правда, в народно-разговорном языке, судя по периферийным деловым документам XVII века, значения слова *вор* и его производных сузились еще раньше, чем в официально-деловом языке.

Остается сказать несколько слов об этимологии слова *вор*, до сих пор окончательно не выясненной. Многие исследователи связывают *вор* с глаголом *вру, врать* (см.:

М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка; Н. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская. Краткий этимологический словарь русского языка). Мы не ставим своей целью пересмотр существующих этимологий слова *вор*; однако наши наблюдения позволяют присоединиться к другому мнению, которое обычно высказывается как маловероятное или сомнительное. Слово *вор* скорее родственно литовскому *varuti* 'гнать' и латышскому *vege* 'энергия, ловкость' (см. об этом «Краткий этимологический словарь», статью *проворный*). С этой точки зрения особенно интересно диалектное слово *воровой* 'удалой, бойкий, проворный' (см.: Словарь Даля), восходящее, видимо, к наиболее древнему значению слова *вор*.

Е. Н. БОРИСОВА,

доцент Смоленского педагогического института

ВИКТОРИНА

(Ответы. См. стр. 96)

◆1. В старину слово *зреть* имело еще значение 'видеть', 'смотреть'. От этого корня произошли современные русские слова: зрение, подозрение, зрительный, презирать, зоркий, зря, зрелище, зрачок, взор и многие другие.

◆2. В старину у слов *союзник* и *узник* был общий корень *уз*. Между приставкой *со-* и корнем появился согласный звук *й* (*со-й-уз > союз*).

В слове *союзник* всегда имелись в виду узы добровольного объединения в отличие от уз принудительных в *узник*.

◆3. *Спасибо* получилось из старинного народного выражения *спаси бог*, которое приносили в знак благодарности, как пожелание всего наилучшего в жизни.

◆4. *Ста* в слове *пожалуйста* — это начало слова *старый* (старший). На боярской Руси *старый* или *ста* добавлялось к имени бояр и других именитых людей, например: Ники-

та-ста, и выражало глубокое почтение и уважение к таким «высоким» лицам.

◆5. *Алчущий* — 'голодный', *алкать* — 'голодать, хотеть есть'.

◆6. Заимствованное слово *швейцар* произошло от немецкого *Schweizer*, первое значение которого было 'швейцарец' — житель Швейцарии. В старину в Германии швейцары несли службу телохранителей. Это были наемные солдаты швейцарской гвардии. Отсюда у слова *Schweizer* появилось значение швейцара.

◆7. Чаинне 'ожидание' от старославянского *чаяти* 'ожидать, надеяться'.

◆8. Колумб, открыв Америку, ошибочно полагал, что это Индия. Поэтому коренных жителей Америки стали называть индейцами.

◆9. *Апельсин* состоит из двух голландских слов *appel* 'яблоко' и устарелое *sien* 'Китай', что вместе означает 'китайское яблоко'.

◆10. *Jahr* — по-русски значит 'год', *Markt* — 'рынок', а в целом *армарка* — 'годовой торг'.

Японские слова в русском языке

Сколько имен у Страны Восходящего Солнца?

К востоку от нашей страны на четырех крупных и нескольких сотнях мелких островов расположен наш сосед Япония. Островной характер Японии долгое время затруднял связи между нашими государствами. И тем не менее в русский язык вошло некоторое количество японских слов.

Начнем с самого географического названия Японии. Оказывается, что это заимствование не из японского языка, как можно было бы предположить, а из китайского. Издревле китайцы называли страну своих восточных соседей Жи-бэнь-го (сокращенно Жи-бэнь). Иероглифы, которыми записывалось это название, соответственно значат: 'солнце' — 'корень (основа)' — 'страна'. Под этим названием узнал Японию итальянский путешественник Марко Поло, посетивший Китай в XIII веке. Не исключено, что именно из описаний его путешествий европейцы впервые познакомились с Японией, которую Поло называл островом Чипингу. Жи-бэнь в диалектах южной части Китая звучит Я-пэн. И Япония предстала в европейских



языках как фонетически измененное китайское наименование: английское *Ярап* (читается: джэпэн), немецкое *Ярап* (япан), французское *Яроп* (жанон). Отсюда и русское слово *Япония*, которое имело несколько форм. Так, в памятной записке для московского посла в Пекине Николая Сафария (1675) употреблялась форма *Иапония*; позднее встречалась *Япон*; первая книга о Японии, вышедшая в России, так и называлась: «Описание о Японе» (1734). Впоследствии победил продуктивный суффикс для образования географических имен *-ия*, и в русском языке закрепилась *Япония*. Кроме того, за Японией утвердилось поэтическое название *Страна Восходящего Солнца* (английское *the Land of the Rising Sun*).

Сами японцы называют свою страну в торжественной речи *Ниппон*, а в повседневном разговоре — *Нихон*. Это японское чтение китайских иероглифов *Жи-бэнь*.

Так и существуют теперь в русском языке два слова: общепризнанное китайское *Япония* и малораспространенное японское *Ниппон*. От них образованы производные суффиксальные формы *японец*, *японский* и *ниппонец*, *ниппонский*. Последние два слова встречаются главным образом в поэтической или возвышенной речи. В одном из

стихотворений В. Хлебникова встречаем «ниппонские тризны». В стихотворении Н. Тихонова «Сваты»: «Усмехнулись гордые ниппонцы, свистнули как змеи и пошли».

Что такое Фудзи и как звали Чио-Чио-Сан

Большинство японских слов в русском языке составляют имена собственные, например названия японских островов (Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку), городов (Токио, Хиросима, Нагасаки), фамилии и имена (Катаяма Сэн — основатель компартии Японии, Акутагава Рюноске — новеллист, Куросава Акира — кинорежиссер).

Стоит рассмотреть название горной вершины Фудзияма, национального символа Японии. Сами японцы так ее не называют: для них она Фудзи или Фудзисан. Объясняется это странное, на первый взгляд, явление тем, как развивалось в Японии письмо.

Со второй половины III века из Китая через Корею в Японию стала проникать иероглифическая письменность. Чтение иероглифов изменялось согласно японским произносительным нормам. Так, китайский иероглиф *шань* 'гора' стал читаться *сан*. Но у японцев было собственное слово для обозначения понятия 'гора' — *яма*, которое было перенесено на заимствованный иероглиф. Так и получились у китайского иероглифа 'гора' в японском языке два чтения: японизированное китайское *сан* и чисто японское *яма*.

Этот пример в упрощенном виде показывает, почему у китайских иероглифов в самом японском языке существует несколько чтений: общепринятым считается чтение Фудзисан, а чтение Фудзияма мало употребительно.

Еще одно имя собственное, известное в Европе не хуже Фудзиямы, — это Чио-Чио-Сан. Имя девушки из Нагасаки, чей домик до сих пор показывают туристам, было сначала прославлено оперой Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй (английское butterfly 'бабочка'), а потом сделалось символом всего псевдояпонского. Писатель Л. Успенский в книге «Ты и твое имя» так объясняет значение этого имени: «Слово *сан* можно перевести как 'госпожа', 'мадам'. Слова Чио-Чио в японском языке, вообще говоря, нет; это переводчики так исказили другое японское слово Тьо-Тьо. Оно, действительно, означает: 'бабочка', 'моты-

лек? и, если хотите, подходит молоденькой порывистой девушке». Добавим только, что и слова Тьо-Тьо в японском языке нет, а есть слово *тё*: (с долгим гласным ё), которое значит 'бабочка'. Возникает вопрос, почему это слово употреблено в имени дважды. Возможно такое объяснение. Если бы первым компонентом в фамилию и имя девушки входило слово *тё*: (причем не обязательно со значением 'бабочка'), например: Тё:я (фамилия) Тё:ко (имя), то в японском языке было бы возможно сокращение этого сочетания, которое как раз и дало бы Тё:тё.

Что мы знаем о Японии и японцах

Многие японские слова вошли в русский язык для обозначения особенностей климата Японии, ее растительного и животного мира, истории, быта, искусства, языка и литературы, спорта.

Основная денежная единица Японии — иена (японское *эн* от китайского *юань* 'круглый', 'монета'; этого же корня корейское *вона*). К нам слово попало через его английскую форму *уен*. В русском языке оно не сразу получило окончание *-а*: в справочниках еще в 1908 году писали *иенъ*, а в 1914 году — уже *иена* (ср. русскую форму немецкого *Mark* — марка).

Знаменитые тропические циклоны, налетающие со стороны Восточно-Китайского моря, по-японски называются *тайфу*: 'большой ветер' (от китайского *тайфын*, где *тай* 'возвышение' совпадает по звучанию с японизированным китайским *тай* 'большой' и *фын* 'ветер'). При несомненной поддержке греческого слова *tifón* 'вихрь, ураган' японское слово вошло в английский язык в форме *turphoon* [тайфу:н] и отсюда было заимствовано русским языком. Таким образом, слово *тайфун* представляет собой своеобразный японско-греческий гибрид. Во многих словарях мы найдем указание лишь на его греческое происхождение.

Много неприятностей доставляют японцам и подводные землетрясения, сопровождающиеся порой гигантскими приливами *цунами* (японское *цу* 'порт, гавань' и *нами* 'волна'). Корни этого слова исконно японские.

В русский язык вошло название травянистого растения семейства бобовых — *соя* (английское *Soy*). Источник

этого слова — японское *сё:ю* — представляет собой заимствованное китайское *цзянью* (*цзян* ‘соевая подлива’ и *ю* ‘масло’). Японское слово, как и его формы в западноевропейских языках, шире по значению, чем китайское: *сё:ю* — это и само растение, и приправа из него. Соя как растение называется по-китайски *хуандоу* (*хуан* ‘желтый’ и *доу* ‘бобы’).

Для обозначения особенностей японской одежды русский язык заимствовал слово *кимоно* (японское *ки-* от *киру* ‘надеть’, ‘одеваться’ и *моно* ‘вещь, предмет’) — ‘верхнее платье типа халата’.

Национальным напитком Японии считается рисовая водка *саке*. Это чисто японское слово. К этнографическим заимствованиям относятся также слова: гейша (японское *гэйся*, состоящее из японизированных китайских корней *гэй* ‘искусство’ и *ся* ‘человек’, ‘лицо’) — ‘танцовщица и певица’; рикша — ‘человек, перевозящий пассажиров в легкой двухколесной повозке’. Слово *рикша* происходит от японского *дзинрикия* (сокращенно *рикися*), составленного из китайских корней *жэнь* ‘человек’, *ли* ‘сила’ и *чэ* ‘повозка’. Сначала, видимо, было заимствовано все слово целиком. Его употреблял Чехов в заметках об обратном пути с Сахалина. Вот он вспоминает об остановке в Гонг-Конге: «Ездил я на дженерихче, то есть на людях». В конце XIX века писали и «дженерикша» (см., например: «Восточное обозрение». Иркутск, 1891, № 3). Впоследствии это слово было усечено до его нынешней формы. Б. Пильняку объяснили во время его поездки в Японию в 1927 году, что слово *рикися* малопопулярно среди японцев и что в Японии рикш называют *курума* (слово исконно японское). Последние рикши в Токио сохраняются лишь для обслуживания гейш высшего класса, и путеводители ныне предупреждают туристов, чтобы те не искали этого вида транспорта.

Слово для обозначения известного всему миру самоубийства путем вспарывания живота — *харакири* (японское *хара* ‘живот’, *киру* ‘резать’), как ни странно, в самом японском языке малоупотребительно, считается вульгарным, и взамен там употребляют китаизм *сэнпуку*. В. Овчинников в книге «Пятьдесят три станции Токайдо» приводит примечательное свидетельство японского профсоюзного деятеля (речь идет о массовых увольнениях рабочих): «У японцев это называется *кубикюри* ‘срубить голову’. Такое образное выражение заменяет у нас слово

уволить и используется теперь куда чаще, чем известное иностранцам *харакири*».

Из области религии заимствовано слово *синто* — буквально 'путь богов' (японское *синто*., состоящее из японизированных китайских корней *син* 'бог' и *до* 'путь', 'правило', 'ученье'). Синто или синтоизм — древняя религия Японии, которая характеризуется почитанием обожествленных духов природы и духов предков. В VI веке, когда синто только складывался как государственная религия, в Японию в форме махаяны стал проникать буддизм, уже имевший свой канон, обширную литературу и множество проповедников, которые по-японски назывались *бо:дзу* (из японизированных китайских корней *бо:* 'келья', 'монах' и *сю, су*, в сочетаниях озвончающегося в *дзу*, — 'главный, основной'). Из европейцев раньше других узнали о японских монахах португальские миссионеры, проповедовавшие в первой половине XVI века в Японии католическую веру. В то время в японском языке гласный перед звонким согласным приобретал носовое звучание, и португальцы стали писать японское *бо:дзу* с носовым согласным *n*: *bonzo*.

Эта форма закрепилась позднее во французском языке с его характерными носовыми звуками: *bonze*. Отсюда и русская форма этого слова — *бонза* или *бонз* (в старых текстах). В этимологических словарях *бонза* иногда неправильно возводится к несуществующему японскому *бонсо*.

В японской религии популярен миф о божественном происхождении императора. Это подчеркивается одним из названий императора *тэнно* 'небесный владыка' (из японизированных китайских корней *тэн* 'небо' и *о*: 'лицо, наделенное верховной властью'). Дворец императора и его самого называли *микадо* — буквально 'почтенные ворота' (из исконных японских элементов *ми* — почтительный префикс и *кадо* 'ворота'). Вплоть до VIII века так называли и всякое государственное учреждение. Отметим, кстати, что и в древнеегипетском языке глава государства иносказательно назывался 'великий дом, великая малата' (*пер-о*, откуда происходит наше *фараон*). Отождествление в древний период верховных правителей со зданиями, где они обитали, надо, по-видимому, считать отголоском родового строя. Этим объясняется, вероятно, и такое словоупотребление, при котором государей, происходящих из одного рода, объединяют словом *дом*: «дом Рюриков».

В японском языке слово *тэнно* употреблялось для обозначения императора как религиозного главы Японии. *Микадо* было связано, как правило, с понятием светской власти, а потом было вытеснено первым названием. Статья I действующей конституции Японии гласит: «Тэнно является символом государства». Для Японии император в качестве главы государства едва ли не абстракция. С XII по XIX век он был лишен светской власти официально, а сейчас, как и в других парламентарных монархиях, он не имеет ее фактически. В традиционном приветствии «Многие лета императору» употребляется именно «тэнно».

В средние века вассалами императора были феодальные князья *даймё* или *даймио* (из японизированных китайских корней *дай* 'большой, великий' и *мё*: 'имя'). В собственных поместьях даймё обладали значительной властью, а часто претендовали и на большее, открыто выступая против императорского дома. В борьбе за власть участвовало и военное дворянство. В 1192 году к власти пришел первый *сёгун* 'верховный военачальник' (из японизированных китайских корней *сё*: 'генерал', 'предводитель, ведущий' и *гун* 'войско, армия', 'военный'). Микадо был лишен государственной власти. Вплоть до «реставрации Мэйдзи» (1868) власть находилась в руках сёгунов, которые в свою очередь часто были ставленниками даймё.

Как сёгуны, так и даймё привлекали к себе на службу мелкопоместных военных дворян. Представители этого сословия назывались *самураями* (исконно японское слово со значением 'служилый человек', 'рыцарь').

Русскую военную лексику начала XX века пополнило слово *шимоза* (от японского *симосэ*) 'взрывчатое вещество на базе пикриновой кислоты', названное по имени его изобретателя, морского офицера Масасика Симоносэ Когакубати. Шимозой называли также снаряд или гранату, начиненную этим веществом.

Из области литературы заимствованы названия стихотворных жанров, прославивших японскую поэзию: танка (из японизированных китайских корней *тан* 'короткий' и *ка* 'песня') и хокку (*хоку* 'начальный, первый' и *ку* 'полустигшие', 'строка'). Форма танка зародилась в VI веке и представляет собой нерифмованное стихотворение размером в 5—7—5—7—7 слогов. Форма хокку вышла из танка и самостоятельно существует с XVI века. Хокку — это стихотворение размером в 5—7—5 слогов,

Вот пример хокку, переведенной на русский язык В. Марковой:

С ветки на ветку
Тихо сбегают капли...
Дождик весенний.

Обязательный элемент японской экзотики — *джиу-джитсу* (японское *дзю*: *дзюцу*, из японизированных китайских корней *дзю*: 'слабость, мягкость, податливость' и *дзюцу* 'искусство'). Джиу-джитсу — самозащита без оружия, основной принцип которой — обратить силу противника против него самого. Современная форма джиу-джитсу — *дзю-до* или *дзюдо* (японское *дзю*: *до*: из японизированных китайских корней *дзю*: 'слабость' и *до*: 'путь'). Правила дзюдо разработал в конце XIX века некий токийский профессор, который первоначально подразумевал под дзю-до особую систему физического и умственного развития.

Любителям японской экзотики

У туриста-любителя местного колорита Япония вызывает множество ассоциаций: гейши, носящие кимоно, божественный микадо, самураи, делающие харакири, подогретое саке, таинственные приемы джиу-джитсу и, наконец, покрытая снегами Фудзияма.

Отповедь «туристскому» взгляду на Японию дал В. Овчинников. Он писал, что такое изображение страны так же далеко от истины, как портрет «типичного» русского в папахе и с бородой, который пьет водку из самовара и ест икру деревянной ложкой.

Турист, восторгающийся Фудзиямой, как правило, не подозревает, что сами японцы называют ее иначе. Слова *харакири*, *микадо*, *рикша* ныне, как мы видели, японцами почти не употребляются. Список курьезов продолжает *самурай*. Это исконно японское слово, вполне употребительное в текстах XVI—XVII веков, было затем вытеснено более книжным словом *буси* 'воин', состоящим из японизированных китайских элементов *бу* 'военный' и 'си' (суффикс лица). Название *самурай*, однако, используется японцами в полуфольклорном смысле для обозначения героя всевозможных приключений в средние века. Так, фильм Куросава Акира «Семь самураев» (1954) по-японски назывался «Ситинин-но самурай». Кстати, после вы-

хода этого фильма американские продюсеры совершили кинематографическое «заимствование», поставив по его мотивам боевик «Великолепная семерка». Для обозначения исторических понятий самурайства как класса и кодекса самурайской чести сами японцы употребляют слово *буси*.

Объяснить существование таких синонимических пар можно тем, что слова, охотнее употребляемые иностранцами и воспринимаемые современными японцами как архаические или вульгарные, были заимствованы европейскими языками давно. В английский язык слово *mikado* вошло в 1727 году, *harakiri* — в 1856 году, *rickshaw* и *samurai* — в 1874 году. С тех пор произошла их своеобразная психологическая ассимиляция, в силу которой иностранцам трудно с ними расстаться.

А расстаться все же не мешало бы. Японцы сами подают пример другим нациям, открывая двери своего языка для новых понятий, характерных для той или иной страны. Скажем, до Октябрьской революции в японском языке насчитывалось лишь несколько заимствований из русского языка. Японцам были известны, к примеру: *сэйути* (промысловый тюлень — сивуч), *стэппу* (степь), *цундора* (тундра), *самова:ру* (самовар), *дзаку:ска* (закуска).

Ныне в японском языке употребляются русские слова, обозначающие понятия советской действительности: *рэ:нинидзуму* (ленинизм), *собэ:то* (Советы), *таварисити* (товарищ), *активу* (актив), *корухо:дзу* (колхоз), *софхо:дзу* (совхоз), *спу:тонику* (спутник) и другие.

В путевых заметках советских туристов, побывавших в Японии в последние годы, видно стремление объективно разобраться в особенностях этой страны, не впадая в увлечение экзотикой. См., например, путевые заметки А. Бескоровайного «Япония без кимоно» («Красная звезда», 1967, № 109, 112) и А. Овчаренко «Япония без Фудзиямы» («Москва», 1969, №7).

Без перевода и с переводом

В речи и на письме иногда используются также некоторые японские варваризмы, не обозначающие в отличие от перечисленных выше слов каких-либо характерных черт японской жизни, а только способствующие созданию «местного колорита». Примером может служить назва-

ние одной из частей в очерке Ю. Лукина «На тридевятой земле» («Литературная Россия», 1964, № 44) — Сайонара. Не служи оно целям колорита, эта часть была бы просто названа «До свидания» — таково значение японского слова. Еще один японский варваризм *банзай* — междометие ‘ура’, буквально ‘десять тысяч лет’ (японское *бандзай* — из японизированных китайских корней *бан* ‘десять тысяч’ и *сай*, в сочетаниях озвончающегося в *дзай* — счетный суффикс для лет).

В русском языке есть несколько примеров калькирования с японского языка, заимствования путем буквального перевода слова или оборота речи. Встречаются кальки в основном в корреспонденциях из Японии: «Каждую весну японский пролетариат, теперь уже по традиции, измеряемой послевоенными десятилетиями, идет в „весеннее наступление“» («Известия», 1968, № 114). Сочетание *весеннее наступление* — калька с японского *сюнто*: (из японизированных китайских корней *сюн* ‘весна’ и *то*: ‘бой, борьба, наступление’).

В статьях, озаглавленных «Сквозь „черный туман“» («Комсомольская правда», 1966, № 294) и «„Черное облако“ не рассеивается» («Известия», 1967, № 9), речь идет о коррупции в политической жизни Японии. *Черный туман* — калька с японского фразеологического сочетания *курой кири*.

Революционные выступления японских трудящихся после победы Октябрьской революции в России, непосредственным поводом к которым стало внезапное повышение цен на рис, получили название *рисовых бунтов* — калька с японского *комэ-со:до* (из исконного японского слова *комэ* ‘рис’ и сочетания *со:до* ‘беспорядки, волнения’, где *со:* ‘волноваться, бунтовать’ и *до* ‘двигаться’ — японизированные китайские корни).

Кальками, по сути дела, можно назвать и применяемые в русском языке японские пословицы, например из сборника «Золотые россыпи»: «Полю хорошо среди полей, человеку — среди людей»; «Умение остается с человеком навсегда».

Новая жизнь японских слов

Некоторые из японизмов расширили в русском языке свое значение по сравнению с японским языком. Слово *тайфун*, например, может употребляться в переносном

смысле, как в заглавии статьи «Эпицентры политических тайфунов» («За рубежом», 1969, № 1). Слово *харакири*, помимо 'самоубийства путем вспарывания живота', стало означать 'самоубийство любым способом' (например в сочетании «политическое харакири»). Словом *бонза*, кроме буддийских монахов, называли одно время надутых, чванливых чиновников.

Самурай, кроме основного значения 'представитель военно-феодалного сословия Японии', получило значение 'офицер японской армии', а во множественном числе — 'японские агрессоры', как в популярной песне Б. Ласкина «Три танкиста»: «И летели наземь самураи Под напором стали и огня»; ср. подзаголовок к статье «Подвигу тридцать лет» («Комсомольская правда», 1968, № 188): «Сопка Заозерная ... Здесь в августе 1938 года были разгромлены самураи, вторгшиеся в СССР». Это слово употребляют и применительно к современности: «Готовят „неосамураев“?» («Комсомольская правда», 1967, № 14). А в статье «Самураи» (там же, 1970, № 173) вводится термин «самурайский империализм».

Хасанскими событиями было навеяно еще одно употребление слова *самурай*. По наблюдениям Н. А. Сыромятникова, в разговорном русском языке 1938 — 1941 годов в Ленинграде оно применялось в значении 'человек, нарушающий общепринятые нормы поведения', 'человек, которому закон не писан'.

Японский язык и фантастика

В русском языке экспериментируют с японскими словами писатели-фантасты братья Стругацкие. Моделируя в повести «Возвращение» общество XXII века, они полагают, что в нем синтезируются научные и культурные достижения всех наций. Имена героев повести указывают на то, что это люди самых различных национальностей. Русские персонажи повести используют в речи английские, немецкие, французские, китайские, японские слова. Употребляются, в частности, уже известное нам японское *саё:нара* 'до свидания', *-тян* — ласкательный суффикс к женским именам, *гокуро-сама* 'спасибо', *го* — название японской игры типа шашек. В этой же повести упоминается о зоопсихологе, причувлившем чудовищных марсианских *сора-тобу хиру* — ле-

тающих пиявок. Это выражение состоит из исконных японских слов 'небо', 'летать' и 'пиявка'.

Имя главного героя повести Стругацких «Трудно быть богом» — Румата представляет собой название одного из 214 ключевых знаков. Ключевой знак — это составной элемент иероглифа, по которому его можно отыскать в словаре. Его значение — 'пика' может быть соотнесено с характером главного героя повести.

О том, чего нет в словарях

В языке нашей литературы и прессы в последнее время появилось еще несколько японских заимствований, не попавших в словари. Так, слова *сакура* — названия декоративной вишни нет ни в «Словаре современного русского литературного языка», ни в «Словаре иностранных слов», хотя, например, в заметке, озаглавленной «Сакура цветет и в Москве» («Комсомольская правда», 1966, № 234), даже не поясняется, о каком дереве идет речь.. «Ветка сакуры» — так назвал свой поэтический рассказ о Японии В. Овчинников («Новый мир», 1970, № 2, 3).

Нет в словарях и японских слов из области бытовой лексики, обозначающих элементы японского интерьера *сёдзи* или *сиодзи* 'бумажная скользящая дверь' (японское *сё:дзи* — из японизированных китайских корней *сё:* 'препятствие, преграда', 'перегородка' и *си*, в сочетаниях озвончающегося в *дзи* и в данном случае употребляющегося как суффикс); *татами* 'соломенный мат, служащий для настилки полов, а также мерой измерения площади' (от японского *татаму* 'складывать'); *токонома* 'стенная ниша' (японское *токо* 'ниша', *-но* — суффикс родительного падежа, *ма* 'промежуток').

Наверное, многим известно слово *камикадзе* 'божественный ветер' (японское *камикадзе* — из исконно японских корней *ками* 'бог' и *кадзе* 'ветер'). Оно появилось в японском языке в XIII веке после того, как монгольский флот, посланный для захвата Японии, был уничтожен налетевшим тайфуном, что было принято за небесную помощь. Боги не помогли Японии во второй мировой войне, и создание в конце ее отрядов *камикадзе* было отчаянной попыткой оттянуть конец. Управляемые смертниками машины, в баки которых заливалось ровно столько горючего, чтобы хватило долететь до цели, поднимались в воздух и врезались в американские авианосцы. О японских воен-

ных летчиках был написан роман В. М. Ефименко «Ветер богов». В современном японском языке, а по его примеру и в английском, словом *камикадзе* называют также водителей такси. В русском языке это слово иногда употребляется также в значении «смертник».

За последнее время наряду с традиционными дзю-джитсу и дзю-до популярным в речи молодежи стал особый вид борьбы *карате* «пустая рука» (японское *каратэ* «самозащита в Рюкю» — из исконно японских корней *кара* «пустой» и *тэ* «рука»), где противнику наносятся удары ногами и ребром ладони. Этого слова пока тоже нет в словарях.

Миниатюрной скульптуре *нэцкэ* (исконно японское слово), которая использовалась в старину как брелок, много внимания уделено в повести А. Рыбакова «Каникулы Кроша», но в словарях это слово не представлено.

Недавно получило известность слово *икебана* «живые цветы» (японское *икэбана* — из исконно японских корней *икэ-* от *икэру* «держать в живом виде, держать в вазе с водой» и *хана*, в сочетаниях озвончающегося в *бана* «цветок»). О японском искусстве расстановки цветов в вазах много писали за последние годы в нашей печати, например: «Мудрая красота икебана» («Неделя», 1966, № 27). По-видимому, и это слово стало заимствованием, которое следует внести в словарь. Думается, есть смысл вообще несколько расширить японскую часть словарных статей в наших лексикографических и справочных изданиях.



Дмитрий Николаевич КУДРЯВСКИЙ

*Из истории
языкознания*

1867—1920

Профессор Юрьевского (ныне Тартуского) университета Дмитрий Николаевич Кудрявский — видный языковед своего времени, автор многих исследований по общему и сравнительно-историческому языкознанию, прекрасный знаток древнеиндийской культуры и языка оставил заметный след в истории отечественной науки. Д. Н. Кудрявский еще в 90-е годы прошлого века познакомился с марксом и остался верен ему до конца жизни.

Дмитрий Николаевич Кудрявский родился 25 октября 1867 года в Петербурге. Его отец происходил из мещанской семьи. Мать была дочерью известного актера и драматурга П. А. Каратыгина. Семья жила в трудных материальных условиях.

В 1885 году, окончив с серебряной медалью гимназию, Кудрявский поступил на словесное отделение историко-филологического факультета Петербургского университета. В университете его любимыми предметами были санскрит, сравнительная грамматика, старославянский язык и античная филология. Особенно большую роль в жизни Кудрявского сыграл известный ученый-санскритолог И. П. Минаев.

В студенческие годы Кудрявский увлекался учением Льва Толстого. В его дневнике записано: «Мы [я и Веня Татаринов] решили под влиянием Толстого ехать в деревню, чтобы там землю пахать и жить своими трудами, ни от кого не завися». Летом 1893 года Кудрявский вместе с Л. Б. Красиным, Л. В. Миловидовой и А. Е. Кугушевой ездил в Ясную Поляну, чтобы встретиться и поговорить с Л. Н. Толстым.

В 1889 году Кудрявский окончил университет с дипломом первой степени и по представлению Минаева был оставлен для подготовки к профессорскому званию на кафедре сравнительного язы-

кознания и санскрита. В 1891 году он сдал магистерские экзамены и решил изучать сравнительную мифологию. Диссертация его получила название «Исследования в области древнеиндийских домашних обрядов».

В начале 90-х годов происходит большой перелом в мировоззрении Кудрявского. Он усиленно изучает сочинения Карла Маркса и становится горячим сторонником его теории и методологии. Кудрявский вступает в марксистский кружок студентов-технологов (1892—1893), во главе которого был известный петербургский марксист С. И. Радченко. В этот кружок входили также Л. Б. Красин, Г. М. Кржижановский, В. В. Старков, А. Л. Малченко. Позднее к ним примкнули П. К. Запорожец, М. А. Сильвин, А. А. Ванев и другие. Здесь прошли школу марксизма Н. К. Крупская, З. П. Невзорова-Кржижановская, А. А. Якубова, Л. М. Книпович, в то время слушательницы Бестужевских курсов. С этим кружком с осени 1893 года был тесно связан прибывший в Петербург В. И. Ленин. В 1893—1894 годах С. И. Радченко жил на квартире Кудрявского (Разъезжая, 20).

Члены кружка большое внимание уделяли собственной теоретической подготовке, особенно изучению «Капитала», и пропаганде марксизма среди рабочих. По их мнению, чтобы подготовить рабочих к восприятию идей социализма, необходимо в первую очередь познакомить их с основами естествознания и особенно теорией эволюции. Острая необходимость в популярных пособиях для такой работы среди петербургского пролетариата привела Кудрявского к мысли написать книжку по истории первобытной культуры. Эта книга под названием «Как жили люди в старину» вышла первым изданием в 1894 году. В ее основу были положены работы Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» и Л. Г. Моргана «Древнее общество». Написанная очень ясным и легким языком, книга пользовалась большой популярностью и выдержала до и после революции девять изданий.

В эти же годы Кудрявский перевел работы Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» и «К жилищному вопросу», написал популярные лекции в помощь пропагандистам о происхождении мира, человека, об истории первобытной культуры, о возникновении капитализма и классовой борьбы. Уже с 1892 года он находился под постоянным наблюдением полиции.

Летом 1894 года Кудрявский был командирован с научной целью за границу. Сначала он жил в Иене, где занимался под руководством известного языковеда Б. Дельбрюка сравнительным синтаксисом индоевропейских языков и ведическим санскритом, а оставшуюся часть времени провел в Париже. За границей Кудрявский

не порывает связей с участниками петербургских марксистских кружков.

Вернувшись осенью 1895 года в Петербург, Кудрявский прочел две пробные лекции на историко-филологическом факультете и был допущен к чтению лекций в звании приват-доцента. В Петербургском университете он читал курсы: семейные отношения индоевропейцев, сравнительный синтаксис падежей, синтаксис индоевропейского глагола и другие.

В эти годы Кудрявский поддерживает тесную связь с петербургским «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса». В 1896 году А. А. Ушаков решил издавать журнал «Земля», посвященный исследованию вопросов экономической жизни России. Редактором журнала предполагалось назначить Кудрявского. По этому поводу петербургский градоначальник сообщает в главное управление по делам печати: «По имевшимся за Кудрявским наблюдениям выяснено, что он находился в сношениях с привлеченными к дознанию по делу о „социал-демократическом кружке“ Владимиром Ульяновым, Глебом Кржижановским, Анатолием Ванеевым и Михаилом Названовым. Что же касается Ушакова, то последний привлекался в 92 году к дознанию по обвинению в государственном преступлении». Л. Б. Красин в своих воспоминаниях называет Кудрявского одним из основателей «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» (Леонид Борисович Красин («Никитич»). Сборник воспоминаний, статей и документов. М.—Л., 1928).

Научная деятельность Кудрявского в области языкознания в этот период была тесно связана с лингвистическим отделением Неофилологического общества, секретарем которого он был с 30 января 1896 года до отъезда в Тарту. Членами этого общества, основанного по инициативе А. А. Шахматова, были А. Л. Погодин, С. К. Булич, позднее И. А. Бодуэн де Куртенэ, М. Р. Фасмер, Л. В. Щерба и другие видные языковеды. На заседаниях отделения Кудрявский прочел пять рефератов, три из которых затем были опубликованы.

15 декабря 1898 года Кудрявский был назначен и. о. экстра-ординарного профессора в Юрьевском (ныне Тартуском) университете по кафедре немецкого и сравнительного языкознания. Приезд его в старинный университетский город совпал с началом массового движения тартуских студентов, которое достигло высшего подъема в период революции 1905—1907 годов. В Тарту он был избран почетным членом «Общества русских студентов», в котором уже к 1900 году решающее влияние окончательно перешло к марксистам. В годы первой русской революции деятельность Кудрявского способствовала развитию революционного движения в Тарту. В до-

несениях жандармов он обвинялся в сношениях с революционными студентами и их подстрекательстве.

Как профессор Кудрявский читал в Тартуском университете русский язык, санскрит, сравнительную грамматику индоевропейских языков, введение в языковедение, синтаксис индоевропейского глагола. Он пользовался большим уважением студентов, всегда чутко и внимательно относился к их нуждам и запросам.

В Тарту Кудрявский написал большинство научных работ. Наиболее важные из них: «Четыре стадии в жизни древнего индуса» (1900), «Психология и языковедение» (1905), «Введение в языковедение» (1912, 1913), «Грамматика древнегреческого языка (1915), «Начальный курс санскритского языка. Грамматика. Хрестоматия. Словарь» (1917), ряд исследований по истории русского языка. Кроме того, он перевел книгу известного французского лингвиста А. Мейе «Введение в сравнительную грамматику индоевропейских языков» и более десяти лет был редактором «Ученых записок Юрьевского университета».

Зимой 1918 года Тарту был занят немецкими войсками. Командование оккупационной армии приказало сделать университет немецким. Протест совета университета положительных результатов не дал. По соглашению с Советским правительством университетский персонал летом 1918 года покинул Тарту и переехал в Воронеж. 12 ноября 1918 года началась учебная работа на четырех факультетах Воронежского университета. В тяжелых условиях гражданской войны и разрухи Кудрявский проработал здесь два года. Но состояние его здоровья с каждым днем ухудшалось. 9 ноября 1920 года он скончался.



Общелингвистические взгляды Д. Н. Кудрявского складывались в период господства в русском языковедении Казанской и Московской лингвистических школ, для которых был характерен психологический подход к истолкованию языка. В своих взглядах на сущность языка Кудрявский не примкнул к этим направлениям. Он определял язык как средство общения и средство выражения мысли. С этих позиций он подверг резкой критике взгляды немецкого психолога В. Вундта, по сути дела отрицавшего такие специфические особенности языка, как сообщение мысли и звуковая форма. Он писал: «Вундт как будто не замечает самого главного, на что обращают внимание те, которые говорят о сообщении мыслей, как о признаке языка. Именно здесь подчеркивается „сообщение мыслей“, т. е. общественный характер языка. Понятно после этого, как

неудачно указание на „размышление в одиночестве“, облекающееся обычно в форму речи даже в тех случаях, когда никто не может человека услышать. Неужели желудок перестает быть органом пищеварения, когда он голодает?» (Психология и языкознание. Юрьев, 1905). Поэтому, пишет далее Кудрявский, «имеем ли мы право распространять понятие языка также на жесты и другие „выразительные движения“? Не будет ли такое распространение понятия граничить с простым метафорическим выражением, со смелой аналогией? И наконец, практично ли вместо установления ясного, научного понятия языка, настолько расширять его, чтобы не было никакой возможности провести границу между выразительным движением (например, вилянием хвоста у собаки) и человеческим языком? На последний вопрос, мне кажется, не может быть другого ответа, кроме отрицательного». Признание Вундтом языка жестов, по мнению Кудрявского, ведет также к отрыву языка от мышления, так как язык жестов не имеет истории и не способен изменяться, приспособляясь к развитию мышления; поэтому он и не может быть орудием мышления.

Рассматривая связь языка и мышления на соотношении логических и грамматических категорий, Кудрявский выступает противником логического направления, которое пришло к отождествлению законов языка с законами логики. Кудрявский, считая язык формой выражения мышления и признавая связь логических и грамматических категорий, подчеркивает отсутствие этого тождества. Он сопоставляет слово и понятие, предложение и суждение и подчеркивает их различие. Во-первых, одно и то же слово в разные времена может обозначать различные понятия. Во-вторых, если бы понятие совпадало со словом, то каждому понятию соответствовало бы только одно слово, и в языке не могло бы быть синонимов. В-третьих, в языке есть отрицательные слова, выражающие положительные понятия, и наоборот. Нетождественность суждения и предложения Кудрявский видел в возможности выразить одно суждение рядом предложений, в несовпадении числа членов суждения и числа членов предложения, а также в том, что в грамматике есть такие виды предложений, у которых нет соответствующих видов суждений. Основную методологическую ошибку сторонников логизма Кудрявский видел в том, что они, изучая не явления языка, а законы логики, подменили объект исследования.

Одной из главных проблем общего языкознания Кудрявский считал происхождение языка. В своих трудах он не только пытается поставить и разрешить этот вопрос, но и критически пересматривает другие точки зрения. По его мнению, теории звукоподражания и междометий не смогли правильно ни поставить, ни разрешить проблему происхождения языка и лишь в лучшем случае

объясняли возникновение небольшого числа слов. Их основной недостаток заключается в том, что они хотели объяснить происхождение языка путем выяснения связи между звуком и значением. Однако в действительности этой необходимой, данной от природы связи не существует. Неприемлемы для Кудрявского и теории происхождения языка М. Мюллера и Г. Штейнталя, так как в них берется уже готовая организация людей и не учитывается роль труда в процессе возникновения языка.

По Кудрявскому, решить проблему происхождения языка — значит выявить те условия, в которых человек мог начать говорить. Эти условия он сводит к следующим моментам: 1) определенный уровень развития головного мозга, особенно тех центров, которые управляют сложным процессом речи; 2) известная ступень развития органов речи; 3) вертикальное положение человеческого тела, которое создает разделение труда между передними и задними конечностями. Передние конечности освобождаются от функции передвижения и берут на себя функцию защиты, приспособляются к хватательным движениям. Это расширяет опыт человека, ближе знакомит его с природой, что способствует развитию головного мозга.

Далее Кудрявский, сравнивая звуки животных, междометия и обычные человеческие слова, приходит к выводу, что язык человека — это высшая ступень развития тех зачатков, которые мы наблюдаем у животных. Ученый стремится определить основные этапы перехода от звуков животных к человеческому языку. Первоначально звуки являются непосредственным отражением впечатлений от внешнего мира. Затем они становятся символами воспринятых впечатлений. И наконец, сопоставление звуковых символов и соответствующих сложных представлений ведет к обоюдному анализу и вырабатывает слово с его значением.

В книге «Как жили люди в старину» Кудрявский пишет, что первобытный человек стоял на ступени животного и смог лишь тогда превзойти его, когда научился бороться с силами природы. Борьба с природой была в то же время для него школой общественной жизни. И только в этой общественной жизни мог сложиться язык, так как необходимость в общении при совместной работе постоянно ощущалась людьми.

Таким образом, Кудрявский рассматривает биологические предпосылки речи, условия, породившие потребность во взаимном общении людей, и первоначальный звуковой материал, на основе которого формировался язык. При этом он исходит из положений, сформулированных в известных работах Ф. Энгельса,



В истории русской грамматической мысли Кудрявский выступает как последователь идей Потебни. Он полагал, что объектом научной грамматики является связная речь. Отсюда следовали два вывода: 1) поскольку основная единица речи — предложение, то синтаксис занимает ведущее положение по отношению к морфологии; 2) нельзя проводить различия между отдельными словами языка и словами в речи, так как, говоря об отдельных словах, нельзя забывать, что их формы обязаны своим происхождением той речи, откуда они взяты. Поэтому для Кудрявского, как и для Потебни, отдельное слово есть своего рода «искусственный препарат».

Исходя из этого, Кудрявский определяет части речи, как «более общие грамматические категории, выходящие за пределы одного предложения и составляющие материал, из которого слагается предложение» (Введение в языкознание. Юрьев, 1912). Иначе говоря, части речи также создаются в предложении, но получают самостоятельное значение и могут выполнять различные синтаксические функции. К частям речи Кудрявский относил существительное, прилагательное, глагол, наречие и союз.

Школьная грамматика, продолжавшая в то время традиции логико-грамматического направления, определяла части речи по признаку значения. По мнению Кудрявского, чтобы правильно судить о грамматических явлениях, необходимо отделить формальный элемент от лексического. Поэтому он считает, что основное различие между частями речи состоит не в их реальном значении, а в способе выражения этого значения, то есть не в том, что они обозначают, а в том, как обозначают. «Разница сводится к тому, что существительное называет что бы то ни было независимо от всякого отношения к чему бы то ни было другому (*камень, дерево, белизна, движение*); прилагательное тоже называет что бы то ни было, но с указанием на то, что это представление должно мыслиться в чем-либо другом (*каменный, деревянный, белый, подвижной*); наконец, глагол изображает, описывает в различных моментах существование того же самого представления (*каменеет, деревенеет, белеет, двигает*)».

В отличие от традиционной системы частей речи здесь не хватает числительных и местоимений. «Потебня прекрасно понимал, — пишет Кудрявский, — что установление особых частей речи „местоимения“ и „числительного“ происходит от смешения грамматической формы с ее лексическим значением. В самом деле, особенность числительного, вообще говоря, заключается только в том, что данное существительное или прилагательное обозначает число. Поэтому к числительным относят, например, церковносла-

вянское существительное *тъма*, так как оно получает там тоже значение определенного числа. Понятно, почему числительное играет ту же роль, как и существительное, если числительное и есть существительное только с особым лексическим значением» (рецензия на книгу Д. Н. Овсянко-Куликовского «Синтаксис русского языка», 1902).

Анализируя члены предложения, Кудрявский, как и Потebня, пришел к выводу об их соотносительности с частями речи. Этому способствовало само понимание слова и грамматической формы, а также стремление дать единый принцип классификации, основанный на грамматическом значении слов, и тем самым связать друг с другом главные грамматические понятия. Отсюда определения членов предложения принимают следующий вид: подлежащее — именительный падеж существительного, сказуемое — глагол в личной форме или сочетание именительного падежа имени со связкой, дополнение — существительное в косвенном падеже с предлогом или без предлога, определение — прилагательное, обстоятельство — наречие.

Учение о предложении в русском языкознании до создания синтаксической системы Потebни строилось на логической основе. Поэтому типичным было определение предложения как суждения, выраженного словами. Потebня, стремясь дать грамматическое определение предложения, выделил в нем два признака: предикативность (глагольность) и то, что в него входят части речи. Выступая против логического и психологического определений и считая формальную сторону самой существенной в предложении, Кудрявский примкнул к выводам Потebни. Однако он находил в предложении только один существенный признак — то, что в него входят части речи, и возражал против господствовавшего в языкознании учения о глагольности как основе предложения. В этом отношении он был предшественником Шахматова.

В учении о сложноподчиненном предложении до конца XIX века господствовала логико-семантическая точка зрения. К началу XX века традиционная система сложноподчиненных предложений, основанная на анализе придаточных, все более перестает удовлетворять исследователей. Языковеды, не отказываясь от анализа придаточных предложений в отрыве от синтаксического целого, стремятся найти прежде всего их грамматические особенности. Одним из первых эту попытку сделал Овсянко-Куликовский.

Поиски грамматического подхода к сложноподчиненным предложениям продолжил и Кудрявский. Рассматривая классификацию придаточных предложений, он считает их деление на придаточные подлежащие, сказуемые, определительные, дополнительные и обстоятельственные неудовлетворительным, так как оно основано на

значении, на том представлении, что каждый член предложения может быть выражен целым придаточным предложением. Он пишет:

«Возьмем для примера крыловскую фразу: „Что волки жадны, всякий знает”. Так как главное предложение требует, как говорят, дополнения на вопрос „что всякий знает?”, то предложение „что волки жадны” признается дополнительным. Но если мы изменим главное предложение и возьмем фразу: „Что волки жадны, всем известно”, то предложение „что волки жадны” превратится в придаточное подлежащего, так как уже будет отвечать на вопрос именительного падежа „что всем известно?”. Совершенно ясно, что таким образом предложение „что волки жадны” можно просклонять по всем падежам, причем оно будет обозначать различные косвенные дополнения: „я не согласен с тем, что волки жадны” и т. д. Можно превратить это предложение и в придаточное сказуемое: „Мысль Крылова — та, что волки жадны”. Таким образом оказывается, что одно и то же предложение может быть чем угодно, смотря по тому, рядом с чем оно стоит. Это значит определять елку как дерево, около которого лежат еловые шишки; понятно, что в таком случае елкой можно назвать и березу, под которой валяются еловые шишки. Ясно, что такая классификация ничего не говорит о самих придаточных предложениях и не принимает во внимание ни одного их признака» (Введение в языкознание).

Сам Кудрявский стал на формальную точку зрения и считал, что основное внимание при изучении сложноподчиненных предложений надо сосредоточить на союзах и относительных местоимениях, которые соединяют придаточное предложение с главным.

В целом для грамматических взглядов Кудрявского характерны две существенные особенности. Во-первых, это строгое проведение исторической точки зрения. Кстати, наиболее сильной стороной учения Потебни он считал последовательный историзм. Во-вторых, стремление объяснять языковые явления из них самих. Поэтому в конкретных исследованиях Кудрявский всегда старался отделить собственно языковую сторону от логической и психологической, а в самих фактах отграничить грамматическое (формальное) от лексико-семантического.

Грамматическая система Кудрявского отражает один из переломных периодов в развитии русской грамматической мысли. Стройная систематизация материала, тонкий анализ грамматических явлений сохраняют значение его работ и в наши дни.

С. В. СМЕРНОВ

ТЕХНИКА СЛОВАРНОГО ДЕЛА

Статья «Сокровищница русских слов» («Русская речь», 1970, № 5) вызвала многочисленные отклики. В словарный сектор Ленинградского отделения Института русского языка АН СССР стали приходить письма с предложениями помочь в большой и нужной работе — пополнении словарных картотек. Авторы писем (Л. М. Осин из Горького, К. Д. Ткачев из г. Ромны Сумской области, М. И. Садогурский из Москвы и многие другие) просят дать конкретное задание, рассказать, как ведется работа. Л. М. Осин пишет: «Я с большой охотой принял бы участие в выборке материалов для картотеки словарного сектора, но не знаю, с какого конца взяться за это дело. Какие слова нужно фиксировать? Какие источники цитировать? Как составлять карточки?». Читателей интересует техника оформления карточек: формат, образец расположения записей и т. п.

Многие присылают выписки из периодической печати. К сожалению, часто их оформление не соответствует требованиям, которые предъявляются к материалам словарного сектора. Поэтому приходится делать лишнюю работу, переписывая присланные карточки.

Для пополнения картотеки словарного сектора используются разнообразные произведения самых различных жанров: художественная литература (проза, поэзия, драматургия), публицистика, периодические издания (газеты, журналы), научная и научно-популярная литература, произведения мемуарной литературы и т. п. Работники сектора ведут наблюдение за различными источниками, в которых отражается русский литературный язык. В картотеке имеются списки литературы, из которой производится выборка. Нужно иметь в виду, что многие произведения уже расписаны.

В настоящее время выборка ведется преимущественно из советской литературы 50—60-х годов. Поэтому желающие помочь нам

должны сообщить об этом в картотеку словарного сектора и получить задание. Это необходимо для того, чтобы не было дублирования.

Материалы картотеки отмечают слова в контексте, раскрывающем значение слова, дают разнообразные сведения о них, а также служат иллюстративным цитатным материалом при составлении словарной статьи. Поэтому различно и отношение к тому или иному источнику. Выборка может быть полной, частичной или специализированной в зависимости от характера источника. Более подробно о типах выборки и о том, что нужно брать из того или иного источника, можно узнать из «Инструкции для выборщиков» (М., 1955), в которой обобщен опыт работы сотрудников словарного сектора по выборке лексических материалов.

Многие читатели пишут о том, что они регистрируют разного рода языковые явления, не отмеченные в современных толковых словарях (М. А. Печерский из Москвы, Г. В. Абашкин из Ленинграда и другие). Эта работа — пополнение картотеки современными материалами, преимущественно из газет, регистрация всего нового, что появляется в языке, — одна из важных задач картотеки. Новое в данном случае понимается очень условно и широко: все то, чего нет в современных толковых словарях. Это не только слова, но и их значения, словосочетания и т. п. Например, терминологическая лексика в статьях на производственную, научную и другие темы: вагонка, луноход, селенолог, ботулинический (яд), легковес (поезд-легковес), красные следопыты; разговорная и просторечная лексика и фразеологические сочетания: до лампочки, чемоданное настроение, чувство локтя, левак (шофер-левак), левачество, уйти в кусты; лексика, связанная с жизнью и бытом зарубежных стран: саффа, харцер, буш.

Необходимо обращать внимание на производные слова. Анализ материалов, поступивших в картотеку в 1968—1970 годах, показал, что пополнение картотеки идет в значительной степени за счет производных слов от тех, которые уже зарегистрированы. Так, в картотеке были слова: лавсан, латекс, латифундист, лауреат, лекарственный, везучий, виадук, урбанист; но не было: лавсановый, латексный, латифундистский, лауреатский, лекарственность, везучесть, виадучный, урбанистский. Возможно, они в свое время не были зарегистрированы, а может быть, появились позже.

Картотека существует в течение многих десятилетий и используется сотнями людей, поэтому чрезвычайно существенны вопросы, связанные с техникой картотечного дела.

В картотеке словарного сектора выборка ведется на карточках из довольно плотной белой бумаги, размером 9 × 12 см, заполняемых по горизонтали. Такой размер карточки дает возможность по-

мстить на ней и небольшую и более длинную цитату. Как правило, цитата помещается на одной стороне карточки, что делает ее обзорной. Текст цитаты может быть переписан от руки, перепечатан на пишущей машинке или вырезан из газеты, брошюры и т. п. и наклеен на карточку.

Карточка, переписанная от руки, должна быть написана четким разборчивым почерком, без помарок. Каждая буква должна быть отчетлива. Текст цитаты помещается на карточку таким образом, чтобы с краев, сверху и снизу оставалось не менее 1 см.

При наклейке вырезок из текста необходимо использовать клей, не портящий и не обесцвечивающий текста цитаты.

Слово или сочетание слов, ради которых цитата выписывается на карточку, подчеркиваются. Слово подчеркивается одной прямой чертой:

К осени покупателей поубавилось, дачные поезда стали реже. В. Лидин, Возле станции (Облачный день над морем, 1967, с. 225).

Во фразеологических, устойчивых сочетаниях, крылатых выражениях все слова, входящие в такое сочетание, подчеркиваются прямой чертой, а одно из них подчеркивается второй прямой чертой:

Я уже, признаться, махнул рукой — что там, не сбудется, умру при своей мечте. Ан нет! В. Тендряков, Свидание с Нефертити, ч. 2, 16 (1965, с. 191).

После текста цитаты приводятся следующие данные об источнике, из которого она взята: а) фамилия автора с инициалами; б) название произведения; в) подразделения текста: том, часть, глава, действие, явление и т. п. (подразделения текста обозначаются цифрами источника, то есть римские цифры не переводятся на арабские и наоборот); г) в круглых скобках — год издания и страница:

— Как ты на этот минный подкоп напал? — А я знал про него, когда еще в своей старой дивизии был, — сказал Синцов. К. Симонов, Солдатами не рождаются, кн. 2, гл. 14 (1964, с. 572).

Если цитата взята из произведения, входящего в сборник, то в скобках указывается название сборника:

В распахнутые окна изливалась густая небесная синь. Ю. Нагибин, Женя Румянцева (Сб. Рассказы 1961 года, 1962, с. 313).

Выборки из газет, журналов, еженедельников также сопровождаются библиографическими указаниями,

При цитате, взятой из передовой или редакционной статьи, корреспонденции, сообщения ТАСС указывается: а) название газеты, журнала или еженедельника; б) дата опубликования, номер журнала или еженедельника; в) страница — для журнала или еженедельника; г) в скобках — название статьи. Примеры:

Правда, 6 мая 1969 (Ударные дни сева); Коммунист, 1970, 3, с. 4 (Общепартийное, общенародное дело); Литературная газета, 1970, 43, с. 1 (Литература, славящая человека труда); Знание — сила, 1970, 1, с. 37 (Читатель сообщает, спрашивает).

При цитатах, взятых из авторских статей, указывается: а) автор и название статьи; б) в скобках — название газеты, журнала или еженедельника; в) дата, а также номер и страница — для журнала и еженедельника.

Примеры:

Ю. Харланов, Тверже гранита (Правда, 10 мая 1969); А. Капица, Из африканского дневника (Наука и жизнь, 1969, 1, с. 84).

В заключение хотелось бы поблагодарить тех читателей, которые прислали свои материалы в картотеку и не только выразили готовность и желание помочь в сборе материалов, но уже активно включились в работу.

*Кандидат филологических наук
Р. П. РОГОЖНИКОВА
Ленинград*

Адрес словарного сектора Института русского языка АН СССР. Ленинград В-164, Университетская наб., 4.

Что читали древние?



Съ сѡутѣскыи филозофъ въпросимъ бы^т. коюи вины дѣла чловѣци печалны соутѣ воиноу; и рѣ^т. тако не токмо ѡ своихъ напастехъ пекоутѣса, но и ѡ чюжемъ добробызнѣтѣтѣ.

Спросили одного скифского философа: «Почему люди всегда недовольны?». И ответил тот: «Потому что они не только горюют о своих бедах, но и о чужих удачах» (Пчела, л. 105 об.).

НАРОДНЫЕ



НАЗВАНИЯ РЫБ

(Продолжение)

Гольян (*Phoxinus phoxinus*). Ар, ара, арёвш, аринка, арйшка, арка Кама. *Бойвка* Орл. *Бырянка* Калинин. *Вандыш* рр. Печора, Кама; Урал: рр. Колва, Вишера, Сылва; Сибирь: Колыма. *Голёж* Кама от Нытвы до Перми. *Головёнь* Пск. *Голопужка* Моск. *Голчик* Моск.: Верейск. *Гольш* Крым. *Гольяш* Онежское оз. *Горьчужка* Ярославл. *Гренадёрчик* Телецкое оз. *Елшанка* Горьк.: р. Кудьма; ТатАССР: р. Цивиль. *Златавка, золотавка* Калинин. *Казаток, казачок* Кама. *Камергёр-*

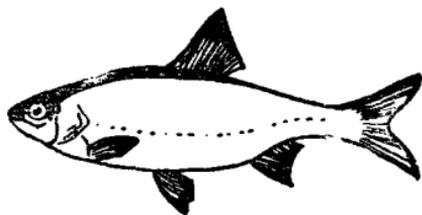


чик р. Нева. *Килька* Телецкое оз. *Красавка, краснозобик, краснозобчик, краснозобый гольян* (самец во время нереста) Урал: рр. Кама, Егошиха, Муляна. *Краснопёр* (гольян во время нереста) Кама. *Краснопёрник* (то же) Кир.: верхн. теч. Вятки, р. Летка; Урал: рр. Кама, Егошиха, Муляна.

Краснопёрка Пенз. *Красуля* Пенз.: р. Сура. *Ленок* Свердл., Челябин., Омск., Обь, Иртыш. *Лощок* Уфим., Оренб. *Малёж* Урал: рр. Вишера, Кама. *Малюшка* Волог. *Малёвка* верхн. теч. Енисея. *Марёна, марёнка, марина, маринка* Урал: рр. Кама, Вишера, Камбарка. *Марйшка, марыга* Урал: рр. Кама, Вишера. *Мескозоб* Урал. *Мёлева, моль, мольга* Урал: рр. Кама, Вишера, Сылва, Чусовая, Камбарка. *Молявка* Урал: рр. Кама, Сылва, Чусовая, Камбарка. *Мёлева, мулёж, муль, муляк* Урал: рр. Сылва, Барда, Ирень, Камбарка, Уфа. *Мулька* верхн. теч. Барды, Ирень, Камбарка, Уфа; Сибирь: верхн. теч. Енисея. *Мыль* Урал: рр. Кама, Сылва, Чусовая, Камбарка. *Омулятка* Сибирь: р. Томь. *Парчук* Кольск. *Песбчник* ТатАССР: Казань. *Пеструха* р. Лена. *Пеструшка* ТатАССР: р. Свияга; Урал: рр. Каменка, Исеть; Амур. *Пестряк* Онежское оз.; Уфим. *Пествиш* Арх.: р. Мезень. *Песчанник* ТатАССР. *Пожировка* Пенз. *Прыгун* нижн. теч. Волги. *Рёшница* ТатАССР: р. Цывиль. *Рыбочка* Байкал. *Свинобойка* Моск. *Селявушка* р. Ангара. *Симба* Моск. *Синепун* верхн. теч. Камы. *Синёц* ТатАССР: р. Цивиль. *Синтя* Пенз.: *Синтявка* ТатАССР: р. Сура. *Синька* Ярославл.; Волга. *Синявка* ТатАССР: р. Сура; Пенз.; Урал: Кама, Егошиха, Муляна; Сибирь: р. Томь. *Скомордох* Орл.: Ока. *Солдат* Кама, Сибирь. *Солдатик* Кама; Сибирь: Телецкое оз.; нижн. теч. Амура. *Табунёц* Свердл. *Тогунёц* Сибирь: р. Томь. *Форель* ТатАССР: р. Сура. *Форелька* Сибирь: р. Томь. *Чёбак* ТатАССР: р. Сура; Кама. *Черевуга, чревуга* Моск.

Плотва (*Rutilus rutilus*). *Бель* ТатАССР: р. Свияга. *Виб-*

лица, библя юг европ. части РСФСР. Бобла Ильмень, Волхов. Бобушка нижн. теч. Дуная. Бублица юг европ. части РСФСР. Гэрвина, гарвінка, гэрига, гэрва, горькавка, горькуха, горькуша, горь-

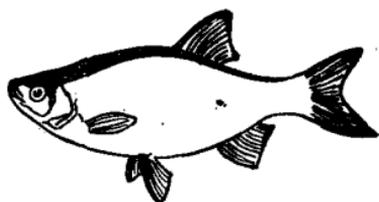


кушка, горькушка, горюга, горюха, горюшка, горявка, горявочка (мелкие особи) Пск.; Новг.; Калинин.: оз. Селигер, Вселуг, Стерж. Дробуша Псковско-Чудское оз. Князёк, князь Переславское оз. Красница Черное м. Красноглазка Пенз. Краснокрылка Пск. Красноперка Новг.; Дон; ТатАССР: р. Свияга; западные склоны Урала. Краснуха Волхов. Листопадка (плотва, подходящая к берегам в конце сентября) Онежское оз. Марфуха Ильмень, Волхов, оз. Валдайское. Наростная плотва (плотва, идущая в мае — июне) Онежское оз. Новинная плотва (плотва, подходящая к берегам в июне — июле, когда убирают рожь) Онежское оз. Обла Арх. р. Пинега. Облица Днепр. Облуха Ильмень, Волхов, Плоскуша юг европ. части РСФСР. Плотка Пск., Смол. Плотчавочка Пск. Плоть, плоть Смол. Поджарка Смол. Подъязык Горьк.: оз. Светлое. Подъязок Новг.: р. Сясь. Поплёвка Смол. Серуха Урал. Синьга (мелк.), синюха оз. Вселуг, Стерж, Селигер. Сорба, сорбжа, соржняк весь север европ. части РСФСР не южнее Пскова, Ильменя, Волхова, верхней Волги, запад-

ные склоны Урала. Тарань, тарашка (крупн.) Кур.: р. Сейм. Тяпуга КАССР. Чебак (крупн.) Урал.

Сибирская плотва (Rutilus rutilus lacustris). Сибирский подвид плотвы. Красноглазка Байкал, Лена. Красноперка Енисей, Байкал. Сорба, сорбжина, сорбжа, сорожняк повсеместно. Чебак Обь, Иртыш, Томь.

Красноперка (Scardinius erythrophthalmus). Часто путают с плотвой. Бель Горьк. Гэрва, гэрюга (мелк.) Пск., Новг., Калинин. Золотая плотичка Горьк.: р. Ока. Королёк Калинин.: Вышний Волочок. Красная тарань Измаил. Краснобрюшка Урал. Красноглазая красноперка ТатАССР: р. Свияга. Красноглазка Ильмень, Волхов; Орл.: р. Ока; р. Кинешма; Урал. Краснокрылка Псковско-Чудское оз.; Урал. Краснопер Дон. Красноперка Ленингр.: Ефимов. р-н; Ильмень, Волхов; Новг.: оз. Валдайское. Красноперая Горьк.: р. Кудьма. Красноперая плотва Калинин.: Вышний



Волочок. Красноперая сорба ТатАССР. Красноперка Урал. Красноперка европ. часть РСФСР не севернее оз. Ильмень, р. Волхова, Белого оз., вся Волга; западные склоны Урала. Красноперый Новг.: оз. Валдайское. Красуля Смол. Мэндруга Новг.: р. Мста. Облуха, облужка Ильмень, Волхов. Плотва, плотичка, сорба Белое оз.; Волга. Сорожняк Волга. Сорба Онежское оз.; Волга. Со-

рыбка Волга. *Тарань*, *тарашка* нижн. теч. Волги. *Чермюха*, *чермюха*, *чернүха* юг европ. части РСФСР.

Голёц (*Nemachilus barbatus*). *Авдотка*, *авдюшка* юг европ. части РСФСР. *Вьюн* рр. Кубань, Кама, Волга. *Голёц* европ. часть РСФСР не севернее оз. Ильмень, р. Вол-



хова; Кир., Волга от Калинина до Астрахани, западные склоны Урала. *Гольый вьюн* Калинин. *Гольчик* Ильмень, Волхов; ТатАССР: р. Свиная. *Евдотка*, *евдюшка* Дон. *Крымпа* Пск. *Леженёк*, *лежень* Яросл. *Магулёня* Кама. *Музляй* Пенз. *Оголёц*, *огольчик* Волга вниз от Калинина; Кама, Горьк. *Пест* Печора. *Подкаменный налим* верхн. теч. Печоры. *Свйя* Кама. *Сйкла* Смол.: рр. Сож, Ипуть, Остёр. *Слиз*, *слизик* юг европ. части РСФСР. *Тальмень* Урал. *Удотка* юг европ. части РСФСР. *Усán* Кама. *Усáтка* верхн. теч. Вятки. *Усáч* Калинин, Горьк., ТатАССР; Кама. *Яснёц* Сев. *Ящерица* Урал: рр. Березовая, Колва, Вишера.



Сом (*Siluris glanis*). *Ермак* нижн. теч. Дуная. *Маймакава*, *маймакала* КАССР; р. Шуя. *Пан* нижн. теч. Дуная. *Судочник* (мелк.) Каспийское. Аральское м.

Налим (*Lota lota*). *Вьюн* юг европ. части РСФСР. *Живчик* Воронеж. *Каменик* (мелк.) КАССР: Водлозеро. *Кйчек* (мелк.) Онежское оз. *Кужарик* (мелк.) КАССР: р. Водла, Водлозеро. *Лежак* Новг.: р. Малый Тудёр. *Лёжанка* КАССР. *Лёженка* Калинин. *Лёжень* Пск., Новг., Калинин. *Мáнтус* Ока; Ульяновск. *Мён* Пск. *Мендёр* Сибирь. *Менёк* (мелк.) Арх.; Белое м., КАССР; Онежское оз., Водлозеро, р. Водла; Яросл.; Белое оз.; Новг.: оз. Валдайское; Пск.: южные районы: Кур.; Дон, Горьк. *Мёник* Рязан. *Менёк* Яросл., нижн. теч. Дуная. *Мёнтуз*, *мёнтуз* запад европ. части РСФСР, ТатАССР. *Ментюг* Горьк.: рр. Кудьма, Теша, Ворсма; ТатАССР: р. Свяга. *Мёнтюк* Кур.; Волга; Пенз. *Мёнуз* Кур.; рр. Сейм, Свапа; средн. теч. Десны. *Мёнуш* средн.



теч. Десны. *Менушóк* (мелк.) Смол. *Мёныш* Пск. *Мень* Белое м.; КАССР: Водлозеро; Пск.: южные районы; Калинин; Смол.; средн. теч. Десны; Волга; Горьк.: рр. Кудьма, Теша. *Мёнька* юг европ. части РСФСР. *Меньтюк* Рязан. *Меньтюшка* Калинин. *Мёнюх* Пск., Калинин. *Минёк* Арх., Кур., нижн. теч. Дуная. *Минь* Арх. *Минтус*, *минтусь* Пск. *Минтюг* ТатАССР: р. Сура. *Панахан* Урал: р. Миасс. *Пестряк* (мелк.) Онежское оз. *Ползунóк* средн. теч. Волги. *Поселёнец* Енисей. *Столбёц* средн. теч. Десны. *Чёрный налим* (крупн.) Онежское оз.

(Продолжение в следующем номере)

Почта „Русской речи“



Рисунки В. Толстоногова

Дуван — дуванить

В одной из старинных русских песен поется:

Ах, там ли нам, братцы, дуван делить,
Нам атласу и бархату по размеру всем,
Золотой парчи по достоинству.

Чулков. Собрание песен

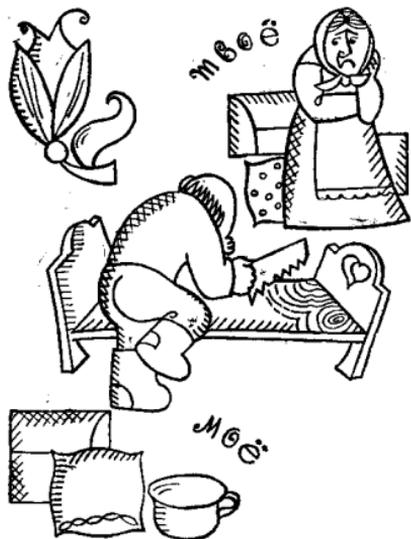
Оказывается *дуван* и образованный от него глагол *дуванить* давно уже существуют в литературном языке. Достаточно сказать, что оба они имелись в первом академическом словаре — «Словаре Академии Российской» (1790) и на протяжении XIX и XX веков отмечались словарями литературного языка. *Дуван* имеет значение 'де-леж, раздел,' а *дуванить* — 'делить.' Именно так слово *дуван* употребляет, например, Герцен: «Новые знакомые находили, что все, делаемое мною, мало и с негодованием смотрели на человека, прикидывающегося социалистом и не раздающего своего достояния на дуван людям, не работающим, но желающим денег» (Былое и думы).

Почему же все-таки это слово в песне кажется нам незнакомым?

Дело в том, что несмотря на давнюю традицию употребления слов *дуван* и *дуванить* в литературном языке, они всегда находились на его периферии: употребление их не выходило за границы разговорно-просторечного стиля. Недаром в словарях эти слова имеют пометы, указывающие на их ограниченное употребление. Так, в «Словаре Академии Российской» мы читаем: «*дуван*, простонародное, употребляемое у лавочников и рабочих людей». Как просторечные расцениваются эти слова с указанными значениями и составителями «Словаря современного русского литературного языка».

В. И. Даль отмечает, что у казаков и вольницы слово *дуван* употреблялось со значениями: 'сходка для дележа добычи', а также 'самая добыча' и 'доля добычи при дележе'. Именно о дележе добычи поется в старинной песне.

Своим появлением в русском литературном языке слово *дуван* обязано существовавшему в старину обычаю ка-



заков делить добычу, взятую во время набегов. При слове *дуванить* Даль прямо указывает: «старинное казачье», причем и значение он приводит здесь не известное в литературном языке — 'делить вообще', а более узкое, с которым слово употреблялось у казаков: 'делить добычу после набега'.

Собиратель местных слов Золотарев (1848) писал, что слово *дуван* «употребляется на Дону с давних времен, когда казаки делали набеги на Турцию и татарские владения». После набега казаки останавливались обыкновенно в нескольких верстах от Старочеркасской станицы (тогда главного города на Дону), в урочище Монастырский дуван, где и происходил дележ захваченного. О том же читаем и у Даля: «В устьях Урала есть урочище дуванный бугор, где казаки встарь, возвращаясь из Персии, дуванили дуван».

Не случайно слова *дуван* и *дуванить* как специфически казачьи часто можно найти в книгах, посвященных казачьей жизни, например, у Чапыгина, Злобина и других.

Упоминание об обычае делить дуван нередко встречается в старинных казачьих песнях:

Собрались казаки-друзи во единый круг,
Они стали меж собою да все дуван делить.

Об этом же обычае казаков говорит и Мельников-Печерский: «В казачьи времена атаманы да есаулы в нашу родню реченьку зимовать заходили, тут они и дуван дуванили, нажитое на Волге добро, значит, делили» (В лесах).

Слова *дуван* и *дуванный* до сих пор имеются в топонимике местностей, которые населяли казаки. С давних вре-

мен сохранились на Дону такие названия, как Дуван-
ный хутор, Дуванная балка. Дуван-горой называется од-
на из волжских гор около Камышина.

Понятно, что *дуван* было занесено казаками из тех
мест, куда они делали набеги. Места эти населяли глав-
ным образом тюркоязычные народы — турки, татары и
другие. Читатель В. Логинов из Феодосии, спрашиваю-
щий о происхождении этого слова, прав, предположив его
татарское происхождение.

В тюркских языках *дуван* значит 'совет', 'собра-
ние', то есть имеет значение очень близкое к тому, с ко-
торым оно первоначально распространилось в русском
языке у казаков — 'сходка, собрание, на котором дели-
лась захваченная добыча'.

С распространением этих слов в различных говорах
русского языка и в литературном языке слова *дуван* и
дуванить утратили ту специфику значения, которая бы-
ла им свойственна в казачьей речи: *дуван* стало обозна-
чать не 'дележ добычи после набега', а 'дележ, раздел во-
обще', а *дуванить* — 'делить вообще'.

О. Д. Кузнецова

*Как сказать
правильно?*

Группа сотрудников одной из лабораторий Свердловска просит ответить на следующие вопросы: Взять что-либо с пола или с полу; выйти из леса или из лесу; тарелка супа или супу; в большом зале или зало; пироги стряпать или печь; множественное число от слова *полотенце* — *полотенец* или *полотенцев*. В магазине часто можно слышать: «Отбейте мне чек». Может быть, правильнее сказать: *выбейте чек?*

Отвечаем по порядку. Первые три вопроса по существу аналогичны.

В современном русском языке многие существительные мужского рода имеют две формы окончаний родительного падежа единственного числа: *-а* (*я*) и *-у* (*ю*). Все существительные мужского рода (кроме, разумеется, несклоняемых) употребляются с окончанием *-а* — эта форма является основной; *-у* (*-ю*) принимают лишь существительные определенных лексико-семантических групп, в том числе: существительные, обозначающие вещество (суп, квас, горох, снег); существительные с абстрактным значением

(блеск, свет, страх, запах); отдельные существительные, обозначающие конкретные предметы — в широком смысле слова (лес, сад, пол, воз, дом).

Существительное *суп* относится к вещественным. В сочетаниях, где обозначается количество (определенное или



неопределенное) употребляются обе формы: тарелка супа и тарелка супу; поел супа и поел супу. В сочетаниях, где количество не обозначено, употребляется лишь *-а (-я)*: приготовление супа; цвет чая.

Существительные *лес* и *пол* относятся к тем немногочисленным словам мужского рода, обозначающим конкретный предмет, которые в сочетаниях с предлогами *с* и *из* употребляются с окончаниями *-а* и *-у*. Поэтому можно говорить: взять с пола и с полу;

выйти из леса и из лесу. (Если же ударение переходит на предлог, то на конце обязательно *-у*: из лесу). Следует при этом отметить, что в современном литературном языке у существительных с конкретным значением *-у* (из лесу, с полу) менее употребительно. При наличии определяемого слова окончание *-а* становится почти обязательным: из темного леса; с паркетного пола.

Слово *зал* в современном русском языке употребляется лишь в мужском роде и склоняется по типу *канал, сигнал*, поэтому правильно: в большом зале. В прежнее время (вплоть до начала XX века), кроме *зал*, употреблялись также *зала* (женского рода) и *зало* (среднего рода). Та и другая формы были склоняемые: *зала* — по типу *лапа, липа*; *зало* — по типу *шило, точило*. Форма предложного падежа в (большом) *зало* совершенно невозможна.

Для обозначения процесса изготовления пирогов употребляется глагол *печь*. Общеизвестно изречение Крылова: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник» (*печи* — устаревшая форма, в современном языке — *печь*). Основное значение *печь* — «приготавливать пищу сухим нагреванием на жару». Глагол *стряпать* имеет более широкое значение —

‘готовить пищу’ (без обозначения способа). В современном русском литературном языке этот глагол явно устаревает и не сочетается с дополнением *пироги*.

Слово *полотенце*, как и большинство существительных среднего рода, в родительном падеже множественного числа имеет так называемое «нулевое» окончание: *полотенец*. Лишь отдельные слова среднего рода имеют в родительном множественного окончания *-ов (-ев)*: *облаков, оконцев, платьев*.

Отбейте чек — это выражение, действительно, часто можно услышать в магазинах, но правильно *выбейте чек*.

Д. И. Бугорин

*Навстречу друзьям —
на встречу друзей*

Преподавательница т. Хосудовская из Ростова-на-Дону спрашивает: «Как пишется слово *навстречу* в выражении „Идя навстречу (или на встречу) столетию со дня рождения...”»

Существительное *встреча* с предлогом *на* пишется раздельно: «Собрались мы на встречу друзей»; «Приехали на встречу представителей общественных организаций»; «Идти на встречу выпускников школы».

Наречие *навстречу* пишется слитно с приставкой *на*: «Идти навстречу друг другу». Наречие *навстречу*, как и наречия *вдаль, сбоку, сверху, вслед* и другие, может выступать в функции предлога, употребляющегося с дательным падежом. Предлог *навстречу* пишется, как наречие *навстречу*: *навстречу мне; навстречу юбилею; навстречу знаменательной дате*.



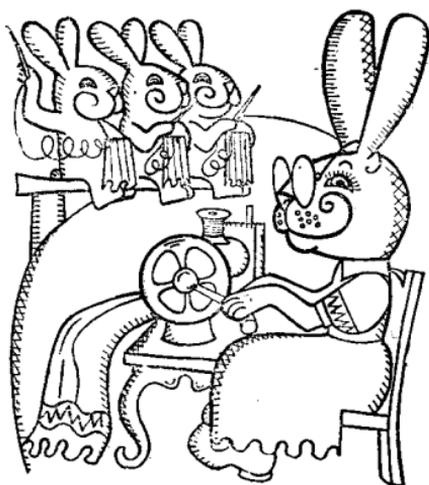


ПРОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ

С. КОЛЕСНИКОВ

УРОК

Под кустом
Сидит зайчиха —
Лучшая в лесу
Портниха,
А вокруг
Зайчата —
Славные
Ребята,
Учатся
У мамы
Шить себе
Панамы.



НА РЕКЕ

Под ракитой
Возле речки
Отдыхали
Две овечки.
Привели
Ребяток —
Маленьких
Ягнят
На песочке
Загорать,
Книжки детские
Читать,
Чтоб ягнята
Больше знали —
Волку в зубы
Не попали.



ЗАТМЕНИЕ

Коровы мычат,
Петухи кричат:
— Мы недавно
спали,
Мы не устали!
И зачем так рано
Спать легли
бараны?
Даже лайка
не поймет
Почему не спит
народ.
На крылечке
я сижу,
Через стеклышко
гляжу,
Как же солнце,
не пойму,
Превращается
в луну?



Семен Тимофеевич Колесников живет и работает в Калуге. Основная его профессия — конструктор. Литература для него тоже дело не любительское. В прошлом году в Приокском издательстве (г. Тула) вышла его первая книга для детей — «Хвастунишка».

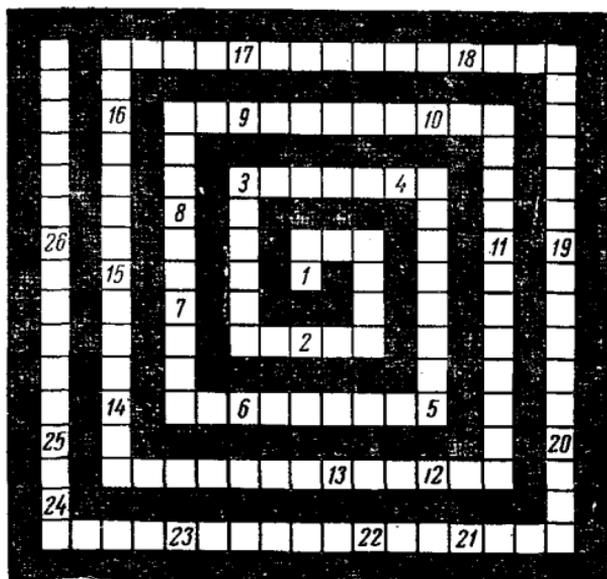


ПРО КИРИЛЛА И ФЕДОТА

Разговорчивый
Кирилл
Очень много
говорил,
Только делал мало
И то — как
попало.
Ну, а труженик
Федот
Делал все
наоборот.
Труд ему роднее.
Кто из них милее?



Рисунки В. Толстогова



1. Слово или оборот речи из чужого языка, заимствованные без изменений.
2. Употребление слова или выражения в переносном значении.
3. Название грамматической морфемы.
4. Перенос значения по принципу «часть вместо целого» или «целое вместо части».
5. Стихотворный трехсложный размер.
6. Слово для обозначения понятия какой-либо специальной области науки, техники, искусства.
7. Часть речевого резонатора человека.
8. Часть слова без окончания.
9. Слово,

образованное при чтении начальных букв специально составленного текста. 10. Речь одного лица в художественном произведении. 11. Наука о строении слова и предложения. 12. Речь социально или профессионально обособленной группы людей. 13. Раздел языкознания, изучающий личные имена. 14. Отрезок текста от одной красной строки до другой. 15. Пауза между словами, делящая стих на части. 16. Устарелое слово. 17. Непроизвольная перестановка звуков или слогов в слове. 18. Слова или выражения, не свойственные данному времени. 19. Минимальная часть слова, имеющая лексическое или грамматическое значение. 20. Определение. 21. Образное выражение. 22. Предполагаемый общий язык всех индоевропейских языков. 23. Разновидность печатного шрифта. 24. Категория русского глагола. 25. Сочетание двух гласных звуков в одном слого. 26. Родительный падеж.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. И. БОРКОВСКИЙ (главный редактор), **В. А. БЕЛОШАПКОВА**,
Е. А. ВАСИЛЕВСКАЯ, **В. П. ВОМПЕРСКИЙ**, **В. Я. ДЕРЯГИН**
 (ответственный секретарь), **И. Г. ДОБРДОМОВ**, **Л. М. ЛЕОНОВ**,
А. И. ОВЧАРЕНКО, **И. Ф. ПРОТЧЕНКО** (зам. главного редактора),
Л. И. СКВОРЦОВ, **Ю. С. СОРОКИН**, **Ф. П. ФИЛИН**, **Н. Ю. ШВЕДОВА**.

Зав. редакцией **И. М. Беспалова**. Художник **Ю. И. Космынин**
 Художественно-технический редактор **Т. А. Михайлова**
 Корректоры **Н. Н. Глаголева**, **Г. Н. Шамина**

Сдано в набор 12/II-1971 г. Т-06432 Подписано к печати 12/IV-1971 г.
 Тираж 86000 Формат бумаги 84×108^{1/32} Усл. печ. л. 8,4 Бум. л. 2,5
 Уч.-изд. листов 9,0 Зак. 1777

2-я типография издательства «Наука», Москва, Шубинский пер., 10